

Вацлав
Михальский

Не судьба



Вацлав Михальский
Не судьба (сборник)

«Согласие»

1973-2017

УДК 882
ББК 82 (2Рос=Рус) 44

Михальский В. В.

Не судьба (сборник) / В. В. Михальский — «Согласие»,
1973-2017

ISBN 978-5-906709-4-72-1

В сборник произведений лауреата Государственной премии Российской Федерации по литературе (2003), писателя Вацлава Михальского «Не судьба» вошли рассказы, написанные автором с 1957-го по 2017-й год. Читатель, знакомый с творчеством прозаика по эпосе в шести книгах «Весна в Карфагене», а также романам «17 левых сапог», «Тайные милости», повестям «Печка», «Катенька», «Баллада о старом оружии», обнаружит для себя новые грани творчества писателя, плодотворно работающего не только в крупной форме, но и в малой, сможет проследить становление художественной манеры писателя. В сборнике представлены как небольшие рассказы (размером в одно-два предложения), так и многостраничные, по своей сюжетной структуре близкие к повестям. Адресовано читателям, любящим и ценящим точное, емкое слово и глубокую мысль, классические традиции русской словесности.

УДК 882

ББК 82 (2Рос=Рус) 44

ISBN 978-5-906709-4-72-1

© Михальский В. В., 1973-2017

© «Согласие», 1973-2017

Содержание

I		6
	На улице	6
	Ветер	7
	Тристан и Изольда	9
II		10
	Орфей	10
	В пределе земном	11
	Облако	13
	Стрелок	15
	В Переделкине	16
III		17
	Пловец	17
	Морская свинка Мукки	20
	Дикарь	22
	Дед Лейбо	24
	Попутчик	26
	В такси	28
	В автобусе	29
	Сосед	30
	Старуха	31
	Журавли	32
IV		33
	Воспоминание об Австралии	33
	Свадебное платье № 327	42
	Конец ознакомительного фрагмента.	46

Вацлав Вацлавович Михальский
Не судьба
Рассказы

© Михальский В. В., 2017

© ООО «Издательство „Согласие“», 2017

I

На улице

И когда теперь иду я – сутулый, с помятым лицом и остатками волос под шляпой, она встречается мне на улице – злая, загнанная, с плохо напудренным лицом; в одной ее руке – полпуда картошки в розовой сетке, другой она тянет вертящегося по сторонам мальчишку от нелюбимого мужа.

Мы не узнаем друг друга.

1973

Ветер

Ветер несет по улицам желтый песок и мусор. Вспыхивают, взлетают к мрачно-солнечному небу пыльные смерчи. Звенят, напрягаются, как паруса, стеклянные стены новой автостанции.

– Мне кажется, что я каждую минуту могу умереть от счастья! – говорит Нина.

Ей семнадцать лет. Ветхий шерстяной платочек делает ее лицо еще более юным. Чуть длинноватые сахарные зубы придают небольшому рту прелесть невинности. Если бы не грешное сияние в серо-зеленых глазах, она бы казалась совсем девчушкой. У нее тонкие черные брови и великолепные ресницы, по ее словам, она удерживает на них семь спичек.

– Отправ... авто... гыр-гыр... – давится репродуктор.

Возможно, отправляется Нинин автобус. Мы выходим из здания. Ветер бросает в лицо песок, мусор, выдирает из урны обрывки газет. Глаза горят, лицо покрывается слоем пыли. Целый день дует этот проклятый ветер и, кажется, выдувает из головы мозги.

– У меня нечего выдувать, мне это не грозит! – жмурясь, улыбается Нина. – Что же так долго нет вашего брата?

Мой брат прибегает за две минуты до отправления автобуса. Он всегда что-то забывает, на этот раз забыл билет и деньги. Они с Ниной только что поступили в университет и едут работать на консервный завод в соседний городишко. Отстали от общей группы и теперь поедут сами. Брат у меня красивый и умный, но еще неуклюжий, скованный по рукам и ногам оцепенением ранней юности. А ноги у него сорок пятого размера, он переступает ими неловко, сдерживает дыхание, чтобы не показаться запыхавшимся, задумчиво-гордо смотрит в неведомую даль.

Семнадцатилетние юноша и девушка – какое неравенство! Сколько обиды и предательства заложено тут природой.

Печальные чувства будит в душе девичья красота.

Я возвращаюсь с автостанции пешком. Ветер неистов, но, к счастью, он дует мне в спину. Иду мимо кладбища. Кто здесь только не лежит: старики и младенцы, распутницы и невинные девушки, воры и честные труженики, солдаты, умершие в войну в госпиталях нашего тылового приморского города. Солдатские надгробия белеют стройными рядами сквозь мотающуюся под ветром зелень ветвей, и кажется... идет колонна.

Как преступно пусто прошла моя молодость, как безвозвратно. Сколько случайных людей участвовало в моей жизни... На них потрачены лучшие годы, лучшие чувства разделены именно с ними. Обидно, но свидетелями самого чистого и доброго во мне были те, что давно расплылись в памяти бурными пятнами и вспоминаются с неудовольствием. Так и канула молодость. А в то же время жила где-то рядом единственно необходимая мне женщина, но пути наши так и не пересеклись.

Все обнажая до самой сути, дует ветер. Изменчивый ветер дует на земле неизменно и будет вечно дуть, мешая прах людской в пыль, перенося его из страны в страну и бросая в лицо нам, как бросит когда-то и наш прах другим людям и ударит о другие деревья. Ветер с желтым песком, солнце в пепельно-сером небе, пустыньность... Все иссушающий, все уносящий ветер...

Сворачиваю направо в бывший лесопитомник. Здесь тихо, светло, зелено. В просветы между листьями радужно сияют с неба грешные глаза подруги моего брата.

По асфальтовой дорожке в тиши густых деревьев бредут к воротам русского кладбища две старушки – русская, в чистой белой косыночке, повязанной под подбородок, как у Нины, и кумычка в цветном национальном платке. Кумычка, вздыхая, жалуется:

– Тебе хорошо, Максимовна, ты всегда можешь к нему пойти, поплакать, а мне нельзя, наш мусульманский закон не велит.

– Аллах с ним, с законом, а ты иди и поплачь самовольно. Христос простит, – говорит русская.

О сыновьях разговор или о мужьях? Этого я никогда не узнаю. Ах, сколько разных глупых законов выдумали люди. Как много нелепого в правилах нашей игры.

«Мне кажется, что я каждую минуту могу умереть от счастья!» – слышу я голос Нины и вижу округлый лиловый синяк чуть выше ее левого колена.

1973

Тристан и Изольда

На улице цветет акация, а здесь, на почте, сильно пахнет горячим сургучом, гораздо слабее штемпельной краской и едва уловимо бумагою.

Я стою у окошка «авиа и заказная корреспонденция». Передо мной чернявая девчушка лет пятнадцати с целой пачкой пакетов – курьер какого-то учреждения. Принимает корреспонденцию худенький загорелый мальчик в белой сетчатой тенниске, надетой прямо на голое тело. Когда он приподнимается со стула, чтобы положить пакет на весы, на его зеленых техасах отчетливо виден мокрый круг – море в трехстах метрах от почты. Мальчишке не дашь больше четырнадцати лет, наверное, он учится «на должность». Его выгоревший на солнце чубчик аккуратно приглажен, белесые брови строго сведены к переносице малинового облупившегося носа.

– А это что за слово, непонятно? – сурово спрашивает он чернявую девчушку, возвращая ей один из пакетов.

– Главцентробумпром, – уверенно читаю я, заглянув через ее худенькое плечико с маленькой, словно сургучной, родинкой на левой ключице. – Главцентробумпром.

– А-а, – нарочито спокойно говорит мальчишка и, вдруг перехватив мой взгляд, замирает с открытым ртом.

Его чистые глаза наполняются трепетным светом восторга, и ясно, что, кроме этой капельки сургуча, нет для него сейчас ничего на свете.

Девочка нерешительно прикрывает родинку ладошкой.

На улице дует вольный морской ветерок, томительно пахнут белые гроздья акации, выхлопывают синий вонючий дым машины. Мне почему-то вспоминается, как ходил я в школу в ботинках, подошвы которых были прикручены алюминиевой проволокой. И как однажды, когда мне было уже лет тринадцать, я увидел толстую книгу в коричневой обложке, на которой было написано прописными буквами «САТИРА И ЮМОР». Я почему-то решил тогда, что Сатира – это девушка, а Юмор – мужчина, и сладостно думал, что они любят друг друга, как Тахир и Зухра или Тристан и Изольда.

Главцентробумпром – невольно возвращаюсь я в мыслях к несуразному конторскому слову, к мальчику и девочке, вся жизнь которых так далека от этого слова. Я думаю о том, как старательно он выписывает квитанции, ставит штемпели, как дрожит его сердце от усердия и боязни напутать. Я хорошо его понимаю, потому что тоже получил свою первую зарплату в пятнадцать лет. Вполне возможно, что ночью ему приснится этот ГЛАВЦЕНТРОБУМПРОМ в виде слона с прозрачным полиэтиленовым брюхом, набитым заказными письмами, с чугунными ногами, которые могут раздавить в любую минуту, с горящими глобусами вместо глаз. Слон вот-вот настигнет его, стопчет, но тут вдруг откуда ни возьмись появится чернявая девочка с маленькой сургучной капелькой на левой ключице, возьмет его за руку и одним рывком поднимет в небо.

1974

II

Орфей

– Орфея забили камнями шалавы, так называемые вакханки. И река Гебр унесла его тело к широкому морю. А старенькую кифару, на которой играл он бывало, прибило к острову Лесбос. Там подобрали ее добрые лесбиянки и за ненужностью отдали богам на Олимп. А те поместили ее на небе и назвали Созвездием Лиры. С тех пор она и горит в ночи. Вон там, где строится телебашня, сейчас дождь – не видно, – говорю я Орфею.

Он сидит передо мной за столом в черных сатиновых трусах до колен, в вылинявшей тельняшке. Едим прямо из сковородки картошку, жаренную на подсолнечном масле. В углу, на тумбочке, стоит гармонь, он играет на ней и поет хриплым голосом свои прекрасные песни, за это я и прозвал его Орфеем. Орфей – щуплый, маленький, с прокуренными зубами и ранней лысиной. Он еще не знаменит и боится косоного коменданта, бывшего когда-то тюремным надзирателем. Сейчас Орфей живет в общежитии нелегально. На днях его прогнали из института «за злоупотребление спиртными напитками и глумление над святынями». Пьет он не больше других и глумиться над святынями не думал. Просто собрал с этажей портреты русских классиков, поставил у себя в комнате и беседовал с ними. Кому не хочется посидеть в хорошей компании?

Орфей – застенчивый, тихий человек, поплававший в море, поживший среди простого народа, с песенной болью в худой груди. Эта боль его мучит, гложет, не отпускает ни днем, ни ночью: все чудятся строчки, звуки... Поэтому, когда выпьет, он становится дерзким, грубит, лезет на рожон. Правда, меня никогда не трогает, не знаю почему – так повелось.

Уже за полночь. Мой сосед по комнате уехал к себе домой, в Подмоскowie, а изгнанный Орфей квартирует на его койке. Он еще не думает, что придут времена и десятки однокашников объявятся его братьями и будут искренне говорить, что не отходили от него ни на шаг, делили с ним хлеб, воду, соль, водку и что там еще? Никто ничего не делил. И я тоже. Каждый жил своей жизнью. А если случалось вместе поесть, выпить вина, перехватить друг у друга трешку, то разве это в счет? Мы были молоды, и каждый мнил себя Орфеем, с лирой, а не с гармошкой. И в этом не было ничего дурного.

Пора спать. Завтра нужно проснуться пораньше, сдать пустые бутылки, их принимают в нашей будке только до одиннадцати утра.

Сдадим – купим килек, чаю. И день наш будет так же прекрасен, как этот майский дождь, что идет, светясь, за открытым настежь окном, льется поющими в ночи струнами, натянутыми на великой лире жизни.

– Надо почитать этот миф, – задумчиво говорит Орфей, – странно, что его убили женщины... – Он смотрит далеко вперед: за завесу дождя, за завесу будущих лет. – Как странно, – повторяет он еле слышно, и темный ужас прозренья мелькает в его пытливых, цепких глазах.

А может, все было и не так, может, этот последний штрих я выдумал сейчас, когда знаю, что на могиле Орфея поставлен памятник с надписью: «Большому русскому поэту...»

1976

В пределе земном

Он был похож на осеннюю муху, ушастый, грустно раскосый, он вяло жил на земле, вяло думал.

Хотя где-то внутри его была пружина, позволявшая ему становиться вдруг неожиданно резким в движениях, дико острым в слове, рысьи цепким во взгляде.

Лет с двенадцати он уже был уверен в предстоящем величии и неповторимости своей на земле. Может быть, этому способствовал сон, который так часто любили рассказывать в семье и толковать как знамение. В ночь перед его рождением снилось матери огромное багровое солнце, восходящее над пустынной степью.

Когда пятнадцатилетние сверстники по первой влюбленности увлекались писанием стихов, он не написал и строчки, но уже тогда видел себя большим писателем впереди. Как все слабые, был он вспыльчив и отходчив сердцем. Кто знает, может, он и стал бы великим, ибо, повторяю, жила в нем пружина необыкновенной силы. Но всю свою жизнь все он откладывал на будущее. Сегодняшний день всегда казался ему не настоящим, временным, совсем не главным.

И пружина с каждым днем слабела, разворачивалась в нем медленно, как китовый ус, заделанный кусочком жира, разворачивается в теплом брюхе обреченного зверя.

Был он страстен до беспредельного сластолюбия и застенчив. Резонер и вместе с тем, в душе, отступник всяческих правил. Женщины его не любили, хотя к зрелости он стал строен и даже красив по-своему. Наверное, они не любили в нем инертность, запущенность, мечтательную жестокость, которые могли угадать в глазах. Глаза у него были зеленоватые, монгольского типа, и, словно в ночном болоте, мерцали в них беспрестанно манящие и жестокие насмешливые огоньки.

Он понимал, что умеет больше многих – это ему давалось играючи, но чувствовал, что не может больше всех, и это его убивало. Он не завидовал чужому успеху, потому что все успехи, происходившие на его глазах, были для него самого малы, как детский башмачок.

С детства он мечтал о гораздо большем, чем успех. О, ему грезились нечто больше земного шара! А все свои годы он жил, как на вокзале, презирая сегодняшний временный день, лелея туманно случай, который изменит его судьбу и перенесет в жизнь другую – достойную.

И природный ум его растаял, рассыпался по мелочам, не приобретя к тридцати годам ровно ничего ценного.

Да, он хотел «в пределе земном все земное и больше»... А жил, как осенняя муха на стекле.

Наверное, был ему нужен погонщик, мудрый, суровый и искренний, наторевший на жизненной тропе, старший друг и безжалостный погонщик, знающий цену каждого дня. Может быть, тогда все было бы по-другому. Но не послала ему такого человека судьба.

И однажды китовый ус развернулся и проколол его насквозь.

В ту ночь он решил светящимися словами положить на бумагу то великое, огромное и красочное, как мир, что созрело в нем и что он чувствовал не только душой и телом, но, казалось, каждой пуговицей своей рубашки.

Без толку ломал он карандаш и пальцы и не мог написать ничего достойного, потому что пружина, жившая в нем столько лет без напряжения, – лопнула.

За окном подымался белесый морозный рассвет. На занесенных снегом соседних крышах торчали безглавые распятия телевизионных антенн.

– Ты хотел «в пределе земном все земное и больше...», – бессильно рассмеялся человек и понял, что нет у него самого главного – любопытства к жизни. И, сняв одежду и прилипающие к ступням носки, лег спать.

1961

Облако

Шофера, с которым я ехал, звали Магомед-Али, но товарищи называли его Колей. На вид ему было за пятьдесят. Обросший седой щетиной, огромный, он, казалось, еле помещался в кабине своего грузовичка, и при взгляде на него сразу же вспоминалась картина Сурикова «Меншиков в Березове».

Дорога петляла замысловатыми кольцами: вверх-вниз, вверх-вниз, а он вел машину так, словно впереди нас расстилалась равнинная автострада. Из Ботлиха мы выехали утром. Было солнечно и тепло, по склонам гор полыхал осенней листвой буковый лес. Я все выглядывал из окна кабины, любовался ярким небом и силился разглядеть в нем орла. Это была моя первая командировка в горы, и я хотел непременно увидеть орла над вершинами. Но орел что-то не показывался. Зато мой попутчик, заметив мое внимание к окружающему миру, разделил мой восторг:

– Эх, небо здесь что надо – красота!

– А как пылают горы! Как пылают! – с охотой откликнулся я.

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

– Как? Как ты сказал? – с интересом переспросил Магомед-Али.

– Я смутился, но повторил стихи.

– Ты сочинил? – с завистью спросил Магомед-Али.

– Нет, не я. Иван Бунин.

– А ты еще знаешь? Скажи, а!

Я читал ему стихи и удивлялся – никогда в жизни я не видел, чтобы так слушали стихи. Память услужливо подсовывала все новые и новые строфы из Бунина и Фета, Тютчева и Есенина, Лермонтова и Пушкина. Он слушал так, как пьют воду раненые. Мне стало даже жутко, у меня было такое чувство, словно я снял повязку с глаз человека – и вот он увидел свет. Лишь изредка он коротко вздыхал, словно переводил дух, а когда я замолкал, подталкивал меня:

– Давай, а? Еще говори, а?

Он вел машину медленно-медленно.

– Видишь, вон облако? Вверх смотри! – сказал Магомед-Али, когда я признался, что больше уже ничего не могу припомнить.

Далеко впереди нас на острую вершину наплывало белое облако.

– Проскочим, а?

Я не понял его.

– В облако проскочим?

– Давай... – удивленно согласился я.

Магомед-Али высунулся из кабины, вглядываясь в облако, что-то оценивая, прикидывая. А потом машина наша рванулась вперед и полетела с такой скоростью, что я отвернулся, чтобы не видеть, как бьются о ветровое стекло утесы. Поворот. Поворот. Поворот. Еще и еще поворот... И вдруг плотный голубовато-белый туман заслонил и заполнил все. Магомед-Али выключил зажигание. Мы выскочили из кабины во влажный сумрак. Облако двигалось: я ощущал его движение, лицо мое стало мокрым, облако пряталось в складках моего плаща, дымилось у ног, текло сквозь пальцы. Вдруг солнце ослепило нас, а белое облако поплыло дальше, в пространство между высокими откосами.

– Смотри! Смотри, трава какая стала, как стеклянная!.. Эх, шалею! Небо до того люблю – шалею! Зеленую траву вижу – шалею, просто ел бы ее, как баран! Подснежник землю пахнет – шалею, как будто разбогател! Может, болезнь у меня какая? Скажи, а? Наша шоферня смеется: «Псих ты, Николай, говорят, псих!» Вот ты стихи рассказывал, а у меня все внутри то захолонет, то в жар – как малярка бьет!..

Мы поехали дальше.

Магомед-Али молчал, насупившись, наверное, ему было неловко, что он вот так вдруг открыл душу случайному пассажиру.

– Я знаю вашу болезнь, – сказал я немного погодя, – вы родились поэтом.

Он вздрогнул, светлые глаза его вспыхнули, лицо напряглось и словно окаменело на миг.

– Ты не смейся, – сказал он тихо, – я тоже два года... – спазма перехватила ему горло, – два года я стихами пишу. В памяти пишу грамоты я мало знаю. – И он стал читать мне свои стихи – о бурых скалах, о белых облаках, о том, какие созревают в Ботлихе персики, о том, что скоро зима, а за нею придет весна.

Два его стихотворения мне запомнились слово в слово.

Вот первое – о любви: «Когда уши мои лежали на пороге и каждую секунду я ждал тебя день и ночь, тебя не было, не было, не было. А теперь ты пришла, а я не жду».

Вот второе: «Мне пятьдесят лет, а глаза мои полны света, как спелый виноград, и никогда они не высохнут, как изюм, никогда! А если умру, то мои глаза вырастут на моей могиле!»

Глаза у него были прозрачно-голубые, ясные-ясные, удивленные и доверчивые – такие глаза бывают у совсем маленьких детей.

Когда я вспоминаю о чудесной встрече с облаком, то думаю и о Коле-Магомед-Али. Это в самом деле был один из тех немногих поэтов, которых мне посчастливилось встретить среди большого числа и грамотных, и неграмотных стихотворцев.

1975

Стрелок

В оригинале письмо написано по-французски.

«Я только что приехал в Ставрополь, дорогая мадемуазель Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию со Столыпинам Монго. Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С. – Петербурге и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Чиркей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть карту, чтоб узнать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное – довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете...» – писал Михаил Лермонтов Софье Карамзиной в своем предпоследнем дошедшем до потомков письме.

Я прочел его вечером, при свете заходящего июльского солнца, среди бесплодных серых скал, сидя на теплом сланцевом камне в Чиркее, вернее, в той географической точке, где еще недавно был этот дагестанский аул. Ныне здесь построили гидроэлектростанцию: перегородили плотиной каньон Судака, сделали водохранилище. Шестьсот лет существовал на земле Чиркей, а сейчас даже над верхушками его самых высоких ореховых деревьев плещется голубая, хорошо отстоявшаяся вода, и сквозь нее сакли и деревья кажутся воспоминанием. Я закрываю книгу, и мне вспоминается волнующий с детства запах конского навоза на крутых каменистых улочках, вечерний акбар муэдзина – в Чиркее всегда работала мечеть, дикие голуби. Посреди аула было ущелье с родниковой речкой на дне, с причудливо падающими из расщелин разновысокими водопадами; словно из этих же расщелин, из хрустально звенящего стока божественной влаги, взмывали то и дело маленькие дикие голуби, стригли острыми крыльями прозрачную дымку водяной пыли и света.

Лермонтов штурмовал Чиркей. Как странно! Сейчас трудно поверить, что всего лишь на расстоянии двух обычных человеческих жизней русские и дагестанцы сходились в смертельном бою. А еще совсем недавно жила в ауле старуха, разменявшая вторую сотню лет, она так усохла от вековой жизни, что помещалась в большой люльке, и у нее выросли молодые зубы. Как он мечтал о легкой ране, что поможет ему вернуться домой!

Все спрашивал в письмах: «Ну, как там с моей отставкой, похлопочите!»

Он штурмовал Чиркей. Какая была возможность! И не нашлось никого, кто подстрелил бы его легко, отправил «на пенсион». А точно известно: в те времена жил в Чиркее такой стрелок, что втыкал на расстоянии тридцати шагов кинжал острием вверх, вешал на него чашечки весов, стрелял, и в каждой чашечке оставалось по половинке пули. Господи, что ему стоило отправить «на пенсион» маленького «уруса» в тесном мундирчике, что лез, не страшась, в самое пекло? И тогда... Тогда все было бы точно так же: и старуха дожилась бы до молодых зубов, и великий стрелок погиб от шальной пули в живот, и эта вода залила аул. Но не записал бы дьячок в метрической книге Пятигорской Скорбященской церкви: «Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов 27 лет убит на дуэли 15 июля, а 17-го погребен, погребение пето не было».

Ах, стрелок, стрелок, что же ты, стрелок?!

1975

В Переделкине

На косогоре, под сенью трех старых сосен, далеко видна и всем здесь известна эта могила в милой оградке из березовых жердей и терновника, увенчанная памятником из серо-палевого недолговечного камня.

Над пустынным белым полем летит и тает колокольный звон. Летит к высокому дачному лесу, в черной глубине которого уже зажелтели первые огни. Это звонят в старинной церкви бояр Колычевых, которая стоит в ста пятидесяти метрах от могилы поэта.

Над заснеженным полем, как и триста, и четыреста лет тому назад, лениво летают черные вороны, густо каркают, предвещая скорые холода. Говорят, что поле это до сих пор не застроили домами и не изрыли канализацией потому, что писатели с дач упростили начальство оставить его неприкосновенным, для вдохновения. Здесь, в лесу, на дачах, живет много писателей и прочего склонного к вдохновению люда. К вечеру это поле между лесом и кладбищем кажется таким неприкаянным и зябким, верно, оттого, что с самого утра этот люд шарит по нему глазами, раздевает догола, утепляя свои души.

В мутно-голубых сумерках метет мокрый тяжелый снег. От могилы поэта слышен надрывный тонкий плач:

– Боренька! Мальчик мой...

Я спешу на электричку и стараюсь не глядеть в ту сторону, где чернеют кучкой провожающие. Голос женщины совсем молодой и сочный, – наверно, умер маленький мальчик. Я с дрожью думаю о том, как нестерпимо лежать зимой в такую слякоть в могиле, как промерзает каждая косточка.

Сотрясая воздух, между деревьями с лязгом пролетает сверкающая электричка, полная живого, теплого народа. Все, кто лежит на этом кладбище, мимо которого я бегу, тоже, наверно, много ездили на электричках. Они спешили вот так же по этой дороге, по снегу, по дождю, по летнему суху. Боялись опоздать на электричку, и некогда им было послушать, как плывет и тает колокольный звон над полем-островом, оставленным администрацией для вдохновения певцов.

«Нет, это прошла не моя электричка, моя еще через три минуты», – думаю я, споро вышагивая по шоссейной дороге вдоль кладбищенского забора. И могила под соснами, и новопреставленный мальчик остались позади слева, а здесь вдоль дороги идет высокий металлический забор – испокон веков живые прочно отгораживаются от мертвых. Дорога освещена электрическими лампочками. Свет полосами мерцает на прутьях ограды, достигает первых крестов. Хорошо тем, кто лежит у дороги, им не так страшно. И мальчику здесь было бы лучше.

«О боже, волнения, слезы мешают мне видеть тебя!..» – вспыхивает в моей душе строка. Но с грохотом надвигается электричка, и ее ослепительный свет гасит строку. Я плотнее надвигаю на лоб шляпу и пускаюсь бегом по утопанному, тускло блестящему перрону стараясь поспеть в первый вагон, – это очень удобно: когда приедем на Киевский вокзал, я быстрее других попаду в метро.

1969

III

Пловец

В столицах люди живут отдельно, и каждый мотается, как электрон, по своей орбите, не в силах превозмочь суету и присмотреться к соседу. Там словно и не бывает ни умирающих, ни убогих, ни скорбящих, ни шальных от счастья, там все – озабоченные. А в маленьком городе люди живут в полной известности друг о друге, и поэтому на каждой улице есть свой дурак или своя знаменитость.

У нас на Приморской обе эти роли достались сыну старенькой учительницы математики Марьюшки. Не помню, кажется, его звали Андреем, а уличное прозвище было у него Чугунок. Уже больным он читал очень много книг – его мать таскала их из библиотеки сетками, в пять минут устно решал любую школьную задачу по алгебре, и о нем говорили: «Дурной, дурной, а чугунок варит!» Наверное, отсюда и вышло прозвище Чугунок. Хотя его больше пристало бы назвать печкой: двухметрового роста, могучего телосложения, он напоминал высокую, под потолок, округлую голландскую печку, какие стояли у нас в классах. Рассказывали, что когда-то он окончил нашу школу с золотой медалью, а потом долго, чуть ли не десять лет, учился в Москве.

Мы жили по соседству. Летом он приезжал домой, и я живо помню, как наша Марьюшка, перед которой трепетала вся школа, робко советовалась с моей бабушкой, какой цветок срезать для букета, а потом бежала на вокзал встречать поезд.

У нас была невиданная, знаменитейшая на всей улице коза Ирка, дававшая четыре литра молока в день. И когда у Марьюшки гостил сын, она каждое утро покупала у моей бабушки пол-литровую банку парного молока. В те первые послевоенные годы это было дорогое удовольствие.

Я так и вижу перед глазами... Розовый лоск раннего утра на черепичной крыше соседней, Марьюшкиной, мазанки, высокую черную козу с белыми дьявольскими глазами, привязанную к штакетине некрашеного забора, бабушку с подойником в руках, слышу радостный голос Марьюшки: «Уже доите, уже можно идти?» А на самой границе между нашими дворами стоит молодая белая вишня, и за нею, выше ее на голову, – обнаженный по пояс юноша. Спеша, чтобы молоко не остыло, Марьюшка подает ему банку через забор. Он протягивает длинную загорелую руку между ветками отцветающей вишни, и лепестки опадают на его исполкинский торс. Запрокинув голову, он пьет большими глотками пахучее козье молоко, и волнистые нити пара дрожат у его лица.

Да, в те времена он был самым великим человеком на всей нашей улице, а Марьюшка – самой гордой матерью. Она высоко носила черноволосую маленькую голову, и ее, увеличенные стеклами очков, черные глаза сияли неколебимым торжеством. В те времена сын Марьюшки был для каждого на нашей улице недостижимым образцом человеческого успеха, здоровья и счастья. А потом мы все вдруг узнали, что он «чокнулся». Моя бабушка говорила, случилось это с ним оттого, что он «переучился, хотел все узнать, а всего не узнаешь».

Как я сейчас понимаю, у него развилась мания преследования. Он боялся машин, собак, лошадей, кошек, а больше всего – нас, мальчишек: узнав однажды, что он нас боится, мы отравляли ему жизнь день за днем.

Круглый год Чугунок купался в море, он плавал, как дельфин, ему ничего не стоило покрыть тридцать-сорок километров. Мы же часами сторожили его, прячась за камнями на безлюдной косе, как только он подплывал к берегу, орали: «Чугунок! Чугунок!» – и гнали

несчастливого назад, в море. Иногда потешались так над ним до глубокой ночи, пока на берегу не появлялась Марьюшка.

– Ах вы, подлые! Подлые! Подлые! – со слезами в голосе кричала она и швыряла в нас галькой.

Но это была уже не та, прежняя, Марьюшка – гроза всей школы, мать великого человека, а седая, высохшая, почти слепая старуха, мать дурачка, и мы ее не боялись. Не боялись, но отступали. И со звериным любопытством наблюдали издали, как выходил из пены морской огромный нагой мужчина и огромная тень ложилась на залитый лунным светом берег. Из недоступного для нас тайника в расселине высоко нависшего над водой утеса он доставал свою одежду. Одевался. Старуха брала его за руку и вела домой.

Миновав жестокий возраст детства, и я, и мои товарищи не только перестали издеваться над Чугунком, но сделались его защитниками перед подросшей следом за нами малышкой.

В восьмом классе вся наша гоп-компания вступила в открывшийся в городе «Клуб юных моряков». Я продержался в клубе всего одно лето, и единственное, что осталось в памяти об этом моем увлечении, – встреча с Чугунком.

Однажды утром в конце августа, втайне от клубного начальства, я вышел на маленькой лодке под парусом далеко в открытое море. Небольшой, но уверенный ветерок надежно дул в парус, и лодка моя скользила вперед и вперед по зеленоватой воде, легко рассекая носом белые барьеры вскипавших и тотчас гаснущих волн.

Я увидел его метров за двести. Он плыл классически чистым кролем с чудовищной, прямо-таки нечеловеческой скоростью. Плыв следом за моей лодкой, и, хотя она шла довольно быстро, расстояние между нами с каждой минутой сокращалось. Я думал, что пловец гонится за мной, но он, даже не заметив лодку, миновал ее метров за тридцать левее. И теперь уже я гнался за ним. Гнался десять, двадцать, тридцать минут, то и дело поглядывая на недавно подаренные мне часы. Душа моя дрожала от чувства, что передо мною великий, невиданный миром пловец. Его могучие длани загребали со скоростью, ритмом, силой мельницы, и тело скользило в самом верхнем слое воды, как нож, пущенный по льду.

Я гнался за ним больше часа, пока он не лег на спину отдыхать. Я приближался к великому пловцу с робостью, а когда разглядел, что это Чугунок, убрал парус и приветливо крикнул:

– Чугунок, не бойся, я тебя не трону!

Взглянув на меня мельком, он отвернулся и продолжал лежать на воде, как на лужайке, без малейших усилий, привольно раскинув руки и ноги.

Чугунок постарел, в его черных, коротко подстриженных волосах металлически блестела седина, на высоком лбу пробили себе дорожки морщины, черты лица стали жесткими, как у римского воина.

– Не бойся, я тебя не трону! – повторил я, когда лодка подплыла к нему почти вплотную.

– А чего мне тебя бояться, захочу и переверну твою лодку, – тихо, безо всякой интонации ответил он, смело глядя мне в лицо ясными синими глазами.

Я обомлел. Животный ужас сковал мои движения. Я понял, почувствовал всем своим существом, что передо мною не юродивый, а излечившийся в мгновение ока, вполне нормальный человек, а значит, ему действительно ничего не стоит перевернуть мою лодку и утопить меня.

– *Memento mori*, – подмигнул мне Чугунок, обнажая в улыбке белые ровные зубы.

– Чё? Моменты в море...

Я не знаю, сколько прошло времени, мне показалось, что вечность. Наконец кое-как одревеневшими руками я поднял парус. Словно неземной ветер наполнил его, и лодка двинулась, и я как во сне смотрел на медленно удаляющееся от меня распластанное тело, казавшееся в воде чудовищным.

Страх не отпускал меня до самого берега. С перепугу я сделал такой крюк, что причалил только под вечер. Причалил и был немедленно изгнан из «Клуба юных моряков» за самовольство.

По дороге домой, дрожа от голода, я думал о том, как все-таки хорошо, как удивительно, что Чугунок выздоровел! Я смутно понимал, что счастливая перемена произошла в нем оттого, что в море ему некого было бояться, ибо он знал по опыту, что ни чайки, ни рыбы его не обманут, не посмеются над ним, не предадут, не сделают больно. Я радовался и за Марьюшку и с волнением предвкушал, как сообщу сейчас эту весть бабушке и соседям. Но едва я свернул на нашу улицу, как увидел неуклюже бегущего по ней Чугунка, а за ним двух знакомых первоклассников с тонкими хворостинами в руках.

1975

Морская свинка Мукки

Однажды, когда я был чуть выше подоконника, я пошел на базар. У базарных ворот стоял старик. На груди у него висел темный от времени, гладкий ящичек, полный белых билетиков, а сверху сидела трехцветная морская свинка.

– Люди! Люди! Узнайте свою судьбу! – хрипло и весело кричал старик. Он был уже горбатый от долгой жизни, и борода у него пестрела желтыми подпалинами.

Я остановился рядом. Был воскресный день, на базар пришел весь город, и люди часто подходили к старику узнать свое счастье. Каждый, кому морская свинка вытягивала билетик, тревожными пальцами разворачивал его, а прочитав, улыбался и отходил от старика довольный.

– Дедушка, а мне тоже можно узнать? – спросил я, когда народу стало поменьше.

– Уважаемый гражданин, вам не только можно, вам нужно сию же минуту узнать свою судьбу, – сказал старик. – Мукки, а ну-ка, Мукки, скажи молодому человеку, какие подвиги он совершит в своей жизни! – попросил он свинку и нежно погладил ее по трехцветной спине.

Морская свинка Мукки опустила острую мордочку в ящик и, понюхав билеты, вытащила мою судьбу.

– Читай! – сказал старик, протягивая мне белый листок.

– Дедушка, я не умею читать.

– Хорошо, – сказал старик, достав из отделения ящика очки в железной оправе, стал читать: – Долгую, как дорога от звезды до земли, и чистую, как весеннее небо, суждено прожить тебе жизнь. Ты всегда будешь побеждать. Ты станешь дипломатом. Все.

– Большое спасибо, дедушка! – сказал я и подал деньги.

– За этот билет не беру! – ответил он и вложил мне в руку монету.

Я отошел, потому что уже собралось много желающих узнать свое счастье. Купил стакан семечек, за которым пришел на базар, и стал думать. В моей судьбе все было понятно. Я буду жить очень долго и никогда не умру – это я знал и без морской свинки. Я буду всегда побеждать – это я тоже знал, потому что не было в нашем дворе ровесника, которому я бы поддался в драке. Но что такое быть дипломатом – этого я не знал и поэтому не мог уйти домой, не выяснив самого главного. До вечера я ходил по базарным рядам, не упуская старика из виду. А когда он посадил свою свинку в ящик и пошел домой, я побежал за ним следом.

– Дедушка, а что такое дипломат?

– О, это ты! Ты еще не пошел домой?

– Да, я еще не ушел домой, скажите, кто такой дипломат?

– Я вижу, ты будешь добрым человеком. Вот мой дом, зайди, и я расскажу тебе все. Это нужно рассказать как следует.

Старик отпер висячий замок на двери своего маленького дома. Комната была тусклая, длинная, с низким потолком.

– Садись, а я дам еды своей кормилице.

Я сел на раскохшийся табурет и свесил босые ноги.

Старик поставил ящичек на стол, вынул свинку и опустил ее на пол. Свинка быстро побежала в свой угол. Старик достал пучок моркови и прямо из рук кормил свою свинку и приговаривал:

– Умница, Мукки, умница, много счастья ты нагадала сегодня людям. Так и надо, только счастье, одно лишь счастье должны мы с тобой предсказывать людям. Потому что у каждого человека и без нас хватает маленького и большого горя.

Я сидел и слушал. Потом старик зажег примус, разогрел обед, и мы сели кушать.

– Так вот, значит, – начал старик, дуя сухими губами в ложку горячих щей. – Этот билет, который достался тебе, единственный во всем моем ящичке. И для меня самый дорогой билет. Шестьдесят лет назад был я таким, как ты, и вытащил точно такой билет. Там тоже было написано, что я буду дипломатом. Но, как видишь, я не стал дипломатом, потому что я не знал, что это такое. А объяснить мне никто не мог, потому что я жил в рабочей слободке и служил мальчиком в столярной мастерской. Я был не такой догадливый, как ты, и поэтому забыл спросить у гадалщика, что такое дипломат. А когда я постарел и узнал, что значит быть дипломатом, было уже слишком поздно. Тогда я купил себе морскую свинку и стал гадать людям счастье. А дипломат – очень большой человек. Дипломаты живут за границей и красиво говорят, понял?

– Понял, – сказал я, – очень понял!

– Вот хорошо. Ты должен стать дипломатом, потому что ты теперь знаешь, что это такое, – улыбнулся старик.

Когда мы кончили обед, он позволил мне поиграть с морской свинкой Мукки. А когда я уходил домой, старик, как мужчине, крепко пожал мне руку и сказал, что он на меня надеется.

На другой неделе наша семья уехала из города, и я никогда больше не видел этого чудного старика.

Давным-давно растаяли в солнечных лучах те времена, когда я был чуть выше подоконника. Должен сказать, что я так и не стал дипломатом. Но в те дни, когда дела мои идут особенно плохо, я вспоминаю тебя, мой мудрый гадалец. Знаешь, наверно, придет время, когда я тоже повешу через плечо деревянный ящик с морской свинкой и пойду по земле гадать людям счастье.

1960

Дикарь

У нее было красивое имя Элеонора и купеческая фамилия Булочникова.

Меня исключили тогда из очередной школы. И добрая моя бабушка определила внука в новую школу. Там я и увидел Нору.

До этого времени я обучался в мужских школах, а тут было смешанное обучение, и я растерялся. Но вскоре все вошло в колею. Освоившись, я стал таскать девчонок за косы, пускать бумажных голубей, подставлять ножки, ловить осенних мух и запрягать их в проволочные колесницы. Нору я увидел не сразу, а лишь где-то через неделю. Мы столкнулись с ней в дверях класса, и я впервые в жизни отметил, что у девчонок могут быть такие огромные и такие синие глаза.

Я толкнул ее в плечо и браво сказал:

– Эй, не крутись под ногами!

– Болван, – ласково сказала Нора и прошла мимо, как будто я был деревянный. Обычно девчонки говорят: дурак, а она сказала – болван.

После этого я в нее влюбился.

Как и всякий двоечник, я сидел на последней парте, у окна. Я всегда завоевывал себе это место, потому что в окно можно было смотреть на улицу и, самое главное, ловить на стекле мух, которых я очень ценил.

Нора сидела на первой парте в среднем ряду. Из моего глухого угла было очень хорошо видно ее белокурую голову. Я так любил на нее смотреть, что скоро стал различать голубую жилку на виске. И когда учительница «ведала» классу, что такое есть наречие, или «раскрывала бессмертные образы русской литературы», я оцепенело смотрел на тонкую голубую жилку и считал, сколько она сделает ударов, пока лихая мушиная тройка провезет проволочную колесницу по крышке парты. Я перестал делать Норе подножки на переменах и однажды заявил бабушке, что мне необходимо купить ксилофон. Бабушка была растрогана тем обстоятельством, что я уже второй месяц учусь в новой школе и меня до сих пор не выгоняют, и дала мне денег. В воскресенье я пошел на главную улицу города и купил полуигрушечный ксилофон.

Я поставил инструмент в сарае на бочку и день и ночь стучал деревянными палочками по звонким трубчатым ребрам. Единственное существо в этом мире – моя верная собака Пальма понимала мое устремление стать музыкантом и, выступив на новогоднем концерте, поразить гордую Нору прямо в сердце. Моя верная Пальма приходила в сарай, садилась напротив инструмента и, свесив красный мокрый язык на черные бархатистые губы, слушала.

Осиянный мечтой, я выбивал могучую залиvistую дробь. В порыве переломил обе палочки, и пришлось выстрогать новые. В тех местах, где у меня получалось особенно выразительно, Пальма восхищенно подвывала и шевелила хвостом. Ах, Пальма, как я был благодарен ей в эти минуты!

Полтора месяца оставалось до Нового года, и я верил в успех.

Все это было в теплом городе, где не бывает зимы.

Однажды, на уроке физкультуры, мы играли в лапту. Маленький ворсистый мяч попал ко мне в руки. Оглядываясь, Нора бежала от меня. Ее золотистая коса дразнила и билась о плечики форменного коричневого платья.

Я хладнокровно прицелился и, широко размахнувшись, с восторженной силой запустил литой мяч.

Нора схватилась обеими руками за голову и упала на бок. Край платья подвернулся, и я увидел тонкую ногу в чулке, стянутую выше колена широкой зеленоватой резинкой, розовый просвет и голубое.

Игра остановилась. Все побежали к ней. А я стоял и чувствовал сладостное облегчение во всем теле, и руки дрожали от любви, и я улыбался, улыбался...

Нору подняли. Большой круглый синяк вспух у нее над глазом. А я все улыбался чему-то совсем непонятному, могучему и упоительному. В стае девчонок, заплаканная, ушла Нора. А я улыбался...

– Петлов, лазве мозно так бить? – сказал шепелявый физрук.

– Можно, – сказал я.

– Дикаль! Хулиган! Дикаль! – закричал физрук.

А я ушел домой, даже не взяв портфеля: разве можно было зайти в класс, где могла быть она?

Придя домой, я вошел в сарай и, взяв инструмент, изо всей силы ударил его о пол. Звонкие трубки разлетелись по углам. Пришла Пальма, понюхала трубки и не осудила меня – она всегда понимала хозяина.

Больше я не возвращался в эту школу. Я слышал, как бабушка объясняла соседке, что, наверное, мне нужно «пересидеть» годик, выждать переходный возраст. И бабушка дала мне отпуск до следующей осени. Я был очень благодарен бабушке и со следующей осени стал благопристойным мальчиком, а потом – благопристойным юношей.

Но больше уже никогда и никого мне не хотелось так сильно ударить мячиком.

1961

Дед Лейбо

Увидев красивую вещь, старый еврей Лейбо обычно говорил: «Я бы взял за нее столько-то рублей». Именно взял, а не дал.

Наш район старого рынка – район глухих переулков и залитых помоями черных тупиков – отличался тем, что низкие дома стояли здесь стена к стене и, вскочив на крышу одного дома, можно было пробежать до следующего квартала. Так мы и делали в детстве, когда играли в «казаки-разбойники».

Дед Лейбо жил в нашем дворе на двенадцать хозяев в глинобитной завалюшке с окном в потолке и занимался тем, что перепродавал на базаре всякую рухлядь, которую несли ему со всей округи те, что стеснялись продавать сами. Летом он ходил в синагогу в белом парусиновом костюме и белой кепке с пуговичкой. Он говорил «ларок», «майстер», «сентр», любил жаловаться на свои болезни и на то, что «цены падают» и «трудно копейку иметь».

В те времена я был очень подлым мальчиком: во главе двух-трех товарищей залезал ночью на плоскую крышу, подбирался к окну в потолке его комнаты и мяукал так отчаянно-противно, как умел на всей улице только я один.

А потом, когда у меня появился электрический фонарик «жучок», мне полюбили светить спящему деду в лицо, хлестать комнатуху таким мгновенным лучом, чтобы и проснувшись он не успевал сообразить, в чем дело. Комнатуха была голая, только на стене, над его кроватью, висели два портрета молодых мужчин в военной форме. Позднее я узнал, что это сыновья деда Лев и Давид, погибшие на фронте.

– Слушайте, вже силов моих нету, знова бомбежка мерещилась, знова Київ, – говорил он поутру соседям, – и эти коты проклятые, спасенья нету, надо настоящее окно строить...

Пожалуй, дед Лейбо любил поговорить о своем будущем окне даже больше, чем о болезнях и деньгах. Помнится, когда он говорил об этом окне, его карие глазки увлажнялись, кончик маленького носа краснел, он снимал очки и взволнованно протирал стекла полою парусинового пиджака.

Шли годы. Жизнь становилась с каждым днем все лучше. Цены на старую рухлядь катастрофически падали, шансов разбогатеть и построить окно оставалось у деда Лейбо все меньше и меньше.

Ему было восемьдесят, когда в один прекрасный летний день его вызвали в военкомат и сказали:

– Дед, у тебя было два сына – Лев и Давид. Тридцать лет ты получал пенсию за младшего – рядового Льва Лейбо, погибшего смертью храбрых. А твой старший сын, капитан Давид Лейбо, считался пропавшим без вести. Теперь выяснилось, что он тоже погиб смертью храбрых. Ты получал за младшего девятнадцать рублей в месяц, а за старшего полагалось бы шестьдесят, потому что он офицер. Подавай в суд – и получишь разницу за тридцать лет.

Случилось так, что в те дни я приехал домой погостить. В нашем дворе жило много новых людей, ведь с тех пор, как я мяукал на крыше, прошло двадцать лет. Дед Лейбо пригласил меня к себе, рассказал о беседе в военкомате и попросил подсчитать, «сколько это будет?».

– Четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей, – доложил я через минуту.

– А на старые? – дрогнувшим голосом спросил дед.

– На старые деньги почти сто пятьдесят тысяч. Хватит окно построить и новый дом купить. Давайте напишу заявление.

– Нет, – остановил меня дед Лейбо, – не надо, я так, для интереса просил тебя сосчитать... – Он задумался, вздохнул и тихо добавил: – Нет, нет, как же я... Левко меня всю жизнь кормил, как же я его теперь... предам? Нет!

Так и не стал судиться «за разницу» дед Лейбо, о котором не только в нашем дворе, во всей округе каждый знал, что он «удушится за копейку».

1975

Попутчик

Ухают под полом вагона литые колеса. За толстыми стеклами косо летят в мутно-серую бездну дальние лесополосы. Опрокидываются навзничь телеграфные столбы. Приплясывают на стыках пригорки, чернеющие среди рябых полей, едва припорошенных первым снегом. О лете напоминает лишь этикетка с зелеными березами, наклеенная на поллитровке российской водки.

– Декабрь проходит, мать твою, а снега ни хрена нету! – нежно глядя в поля, говорит мой сосед.

– Ты бы при ребенке не матюкался.

– А Сашка у меня свой парень, скажи, Сашка! – Он треплет за узкое плечико равнодушно увертывающегося от его руки шестилетнего сына. – Мы люди простые, институтов не кончали. Русский язык без мата все равно как справка без печати.

– Вырастет, тебя же матюкать будет. Вспомнит отцовскую науку.

– Чего? Я от него независимый. На старости мне пенсию дадут, государство об нас заботится. Давай лучше выпьем... Давай, студент, выпьем!

– Спасибо, не хочу.

За окном зябко, выпить я бы не прочь, да пить его водку противно. Когда шагнул я с перрона Курского вокзала в этот вагон, у меня оставалась в кармане одна-единственная трешка. Рубль взяли за постель, и ехал я домой, что называется, на честном слове.

– Значит, не хочешь? Ладно, – он делано улыбается, показывая четыре золотых зуба, наливает себе в пластмассовый стаканчик, пьет залпом, остервенело мотает сухой маленькой головой с редким русым чубом, нюхает докторскую колбасу и ею же закусывает.

Я закрываю глаза, будто дремлю. Мы едем вторые сутки. Я уже многое знаю о моем попутчике. Звать его Миша, он горняк – работа вредная, опасная и денежная. Месячный заработок Миши в пять раз больше месячного заработка врача, инженера или учителя. Это он сам привел мне такую статистику, при этом его светло-коричневые, близко посаженные глаза полнились золотым блеском.

– Вот ты, студент, жмешься на какую-нибудь тридцатку в месяц, кашу наворачиваешь, всю жизнь учишься, а толк какой? Я три класса да два коридора кончил, а не жалуясь – за получку расписаться сумею, больше и не надо. Эти там учителя или врачи, инженера, всякие ученые, они таких денег не видели!

Я чего... вкалываю! Я простой... работяга... вкалываю и на доске висю – почет-уважение. Захотел – напился, я простой... вкалываю! Без меня куда денешься? Я вкалываю... Повкалывал – и гроши на бочку, пжалста, распишитесь, Михаил Игнатыч! Тоисть это я, – так он изъяснялся мне в первый день нашего путешествия, наставлял, поучал, без конца хвастался: своими заработками, своим плащом болоньей, своим проигрывателем, своей якобы необыкновенной силой и успехом у женщин.

Проигрыватель, на котором Миша непрерывно крутил музыку, действительно достоин описания, – кстати сказать, он во многом напоминал хозяина. Это была воистину страшная машинка: черный пластмассовый ящик помещался в чемоданчике из кожзаменителя, где-то там, внутри, прятались батарейки, которые двигали маленький диск, оклеенный ядовито-зеленой фланелью. Пластинки можно было крутить только маленькие, гибкие – кустарного типа. Из-под иглы завывало, хрипело – негромко, но достаточно противно: «Ты мне вчера сказала, что позвонишь сего-дня-я-я-я-я...»

Словом, мой попутчик ехал со всем мыслимым для него комфортом: с водкой, чистой постелью и своей музыкой...

Вот и сейчас он снова завел свою адскую машинку и наслаждается.

– Работа у тебя, видно, интересная. Рассказал бы? – прошу я.

– Интересная... шуруем!

– Так расскажи.

– Говорю – шуруем. Вкальваем! Как часы. Пять сотен в месяц, а то и все шесть...

Большого он не может рассказать о своей работе, как будто это пустое место, где ничего, кроме денег, не растет. Начатая поллитровка подрагивает на купейном столике. За окном заметно темнеет. Когда мальчишка начинает резвиться, кувыряться на полке или играть на губах пальцами, мой попутчик взглядывает на него строго и роняет сквозь золотые зубы:

– Сашка, не балуйся, а то напыюсь!

Мальчик сразу съеживается и затихает.

Вдруг, как часто бывает в поездах, заговорило молчавшее весь день радио:

– Седьмой вальс Шопена, исполняет Святослав Рихтер.

Даже искаженная хрипловатым поездным радио, музыка прекрасна.

«Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, роц, могил
В свои этюды...»

– вспоминается мне, и становится еще печальнее на душе, но потом вдруг светлеет: я думаю о том, как хорошо, что люди учатся и работают на земле не только ради денег.

Видно, и Мишу растрогала музыка.

– О дает! О дает! Как на балалайке! – хвалит он Рихтера и протягивает руку, чтобы потрепать по плечу сына. Но тот привычно увертывается, и рука моего попутчика повисает в воздухе, так и не найдя опоры.

1972

В такси

Снег лег в октябре, уже апрель, а холодам не видно конца.

Машина летит в общем потоке по Дмитровскому шоссе. Мокрый снег лепит в лобовое стекло, «дворники» едва успевают открывать обзор. Впереди и по бокам роятся огни многоэтажных домов, таинственным, мертвенным светом мигает реклама какого-то кинотеатра. Водитель, пожилой, в очках, на тонкой шее зябко намотан шерстяной клетчатый шарфик, концы его свисают на лацканы потертого пиджака. Он курит «Беломор», глухо кашляет.

– Скорей бы зима проходила, – раздраженно говорит пассажир, черноволосый, в дорогом сером пальто, совсем еще молодой мужчина, полный неизжитых сил и надежд.

– Вот так и гоним дни: скорей бы зима, лето, получка, отпуск... Так и прогоняем свою жизнь! – блеснув из-под очков усталыми, умными глазами, отвечает таксист и, приспустив оконное стекло, выбрасывает папироску.

Далеко впереди, на перекрестке, слышен жуткий визг тормозов, тупой удар.

Кажется, кто-то уже приехал...

1975

В автобусе

Жарко. Тесно. Нечем дышать. Запахи разогретого дерматина сидений, сгрудившихся в проходе тел и дешевого одеколона смешиваются в такой букет, что я еле держусь на ногах. К тому же одеколоном пахнет от меня – я только из парикмахерской. Закончив стрижку, знакомый черноглазый мастер сказал:

– Освежим, да?

– Если тебе хочется, Рафик, – пробормотал я неуверенно.

– План, да, – сказал Рафик и в ту же секунду дунул мне по ушам пылью цветочного одеколона.

И вот теперь благоухаю на весь автобус. Что поделаешь: у каждого свой план! «Лучше бы волосы отряхнул как следует, – думаю я, поеживаясь. – На море, что ли, поехать, обкупнуться».

Рядом со мной стоят в пляжных сарафанах и с пляжными сумками две пожилые, еще молодящиеся дамы. Морщины на их лицах и шеях искусно забиты тоновой пудрой, ногти на руках алеют свежим лаком. Та из них, что стоит ближе и невольно прижимается ко мне полным загорелым плечом, говорит подруге:

– Ах, Сима, он так неудачно умер. Как раз ему звание должны были дать, документы в Москву отослали. Тогда бы ему пенсия выходила персональная. За квартиру всего пятьдесят процентов, а свет и вода – бесплатно. У него было столько планов. Так неудачно умер.

«А кто это делает удачно?» – подмывает меня спросить. И я спросил бы ее, если бы не пахло так плебейски этим дешевым одеколоном, не кололись так противно нападавшие за шиворот волосы.

Жарко. Тесно. Сам себе не рад. Да еще шофер неумело тормозит на остановках, люди валяются друг на друга. Старуха в сарафане взглянула на меня с усмешкой, как будто я нарочно ее облапил. Фу! К морю! Скорей, скорей к морю! Сорвать одежду, разбежаться и – в воду!

1975

Сосед

Однажды поздней весной я пошел в больницу проведать соседа по дому – одинокого восьмидесятилетнего старика.

Он вышел ко мне, едва запахнувшись в халат бурого цвета, медленно переставляя усохшие ноги в бязевых кальсонах с черными штампами казенных меток. Высоко держа белую голову и глядя поверх меня, как слепой, старик молча сунул мне для пожатия глянце-вито-костистую руку и пошел по больничной аллее, словно меня не было рядом.

Стараясь занять больного, я говорил о том, что мне казалось интересным, а сосед молчал.

Минут через пятнадцать я счел свой гражданский долг исполненным, сказал громко: «До свиданья! Выздоровливайте!» – и нетерпеливо подал ему руку. Старик слабо пожал ее в ответ, впервые взглянул мне в лицо своими острыми, светлыми глазками и пробормотал едва слышно, будто говорил сам с собой:

– Только теперь, в больнице, я понял, почему болею: мне скучно с вами жить.

Я так и не понял, что он хотел сказать. Может быть, то, что его поколение уже ушло, что «передового нет» и он стоит «на роковой очереди»? Или только то, что я наскучил ему своей пустой болтовней? Не знаю.

Но когда сосед повернулся и пошел к серому больничному корпусу глядя ему в спину я с неожиданной болью почувствовал глубокую родственность между нами и понял, что я ничего не знаю о нем, так же как он обо мне, что наши души друг для друга воистину потемки. И мне вдруг захотелось догнать соседа и найти с ним «общий» язык, поговорить «по-человечески», как будто до этого я всегда говорил с ним «по-птичьему»... Но я не догнал его.

А вечером старик умер. И так и осталось неясным, что же хотел он сказать мне в тот свой последний день на больничной аллее, где так остро пахло карболкой и молодой, только что скошенной травой.

1975

Старуха

Летом эта подмосковная деревушка бывала полна праздного народа, а зимой в ней жила одна-единственная старуха.

Летом старуха сидела на рельсе у колодца и всякому человеку могла обстоятельно объяснить, как пройти туда или сюда; где найти то или се; как будет лучше – так или сяк; и где будет лучше – там или сям. Летом жизнь шла сама собою, не нуждаясь в ее, старухиной, поддержке. А зимою в деревне было так пусто, что туда не залетали даже птицы. И выходило, что за всю жизнь зимою здесь отвечала только одна старуха. Каждый божий день, с зари и до зари, она натаптывала в снегу дорожки от колодца к чужим, наглухо закрытым домам. А натоптав от колодца, иногда соединяла некоторые дома тропинками и между собою – как будто хозяйева ходили друг к другу в гости. Домов было всего шестнадцать, но старуха еле передвигала свои отечные ноги, дышала тяжело, с хрипом, то и дело вытирала пот, постоянно блестящий в серебристых волосках над ее верхней губою.

Старуха была сырая, грузная, но жила долго. А когда умерла, то в ту же ночь все дорожки занесло снегом.

Наутро взглянул с небес Господь, увидел, что нет дорожек, и забыл эту деревню...

1975

Журавли

Высокое небо все в темных и светло-серых кучевых облаках. В воздухе пахнет палыми листьями, лесной сыростью. Галки суетливо умащиваются на рыжей верхушке корабельной сосны, бранятся друг с другом. Где-то за лесом урчит трактор. Наш дачный лес приуныл после долгого дождя, боится поднять голову, еще не верит, что хляби небесные закрылись.

Кур-кур-курлы!

Вот они, милые, летят... Черная нитка журавлиной стаи видна все отчетливее, особенно когда она проплывает на фоне светлых кучевых облаков.

– У меня давление сто семьдесят на сто десять. Нижнее особенно мучает.

– Вам нужно принимать раунатин.

– Как же, пять лет пью.

Я сижу на верхней террасе санаторного корпуса, разговаривают внизу.

Кур-кур-курлы!

Мур-мур... – уже где-то совсем далеко мурлычет трактор.

Галки примолкли.

Журавли то летят клином, о котором столько написано и спето, то строй их рвется на полоски, то снова соединяется. Наверное, молодежь еще не смирилась – все норовит выскочить вперед.

Кур-кур-курлы!

У них своя жизнь, а у меня своя. Они птицы, а я человек. Но почему они так дороги мне? Почему сердце щемит, когда я провожаю их долгим пристальным взглядом? Почему в их полете мне чудится тайна? Почему даже галки примолкли, слушая журавлиный табор? Почему в их курлыканье столько несказанной тревоги? Почему?

Не знаю. Но как хорошо, что есть журавли на белом свете. Хорошо еще и потому, что они возвращают нас, пусть ненадолго, к тем дням нашей жизни, когда все было – тайна и радость. Когда мы не знали ничего плохого и были уверены, что узнаем все хорошее. К тем дням, когда мы еще не разучились без усталости спрашивать: почему? почему? почему?

1975

IV

Воспоминание об Австралии

Цветная дымка – то сиреневая, то зеленоватая, то желтая – легко струилась между склонами Голубых гор, дрожала, зацепляясь, словно полупрозрачная кисея, за нелепо изогнутые черные деревья без единого листика, за кусты розового шиповника на перевале, клубилась вдоль обочины белой известняковой дороги, жалась к замшелым стенам старинной английской богадельни, сохранившейся здесь, в Австралии, еще со времен первых поселенцев – каторжников с далекого Альбиона.

На горном перевале, у кустов шиповника, стояла легковая машина цвета слоновой кости, похоже «Крайслер», и какая-то женщина средних лет говорила кому-то, что кончился бензин.

В каменистом дворике богадельни сидели за ломберным столиком: голый по пояс туземный вождь с длинной и широкой бородой, почти закрывающей ключицы, с лиловыми шрамами ритуального рубцевания на животе и груди; белокурый моряк в тельняшке с высоким столбиком золотых дублонов под рукой на зеленом сукне стола; старый джентльмен во фраке, в белоснежной манишке, с ливрейным лакеем за спиной, складывающим в большой кожаный мешок его очередной выигрыш. Играли в очко.

Голос невидимого из-за кисеи цветного тумана произнес по-русски, что они играют вторые сутки, что вождь проиграл свое племя и теперь за душой у него осталась одна мелочевка, что капитан парохода (значит, моряк был капитаном) проиграл сто тысяч долларов, а теперь пустил в ход последнее – наличное золото.

– Трус в карты не играет! – весело добавил невидимый. Вместе с последними звуками его живого, сильного голоса все покачнулось – и каменистый дворик, и богадельня с голубями, воркующими на черепичной крыше, и Голубые горы, и весь материк – все втянуло со свистом в повитую цветной дымкой разверзшуюся бездну.

Светлая морось обложного сеяного дождичка, мокрый шелест облетающих веток над головой, мокрая подстилка палой листвы под ногами, шаркающая походка, бодрый запах лесной сырости, клацающий стук колес пригородной электрички, саднящая старая рана в правом плече, привычная ломота шейных позвонков, тянущее от левого паха под левое колено неприятное напряжение (вчера долго лазил в смотровой яме под машиной, – вот и натрудил грыжу – для него сейчас и усилие в пуд – тяжесть), всегда новая, освежающая душу радость от того, как хороши смешанные леса осенью, как светло печалят их чистые цвета увяданья – все, вместе взятое, и давало Алексею Андреевичу приток того острого чувства, которое можно назвать радостью обладания жизнью.

Как умно поступил он когда-то, взяв здесь кусок земли. В те времена, выходя в отставку, можно было получить участок под дачу даже и с его небольшим чином. Все домашние и знакомые считали его выбор ошибкой, блажью – у черта на рогах, гиблая даль! А теперь эта местность оказалась чуть ли не в черте города – до Трех Вокзалов сорок минут на электричке, а про машину и говорить нечего. Не успеет вода в радиаторе нагреться, а ты уже на «Динамо» у дочери.

Большой ежик хотел перебежать ему дорогу, но приостановился. Откинулся на задние лапки, безбоязненно показывая буроватое брюшко, фыркнув, будто чихнул, смешно встряхивая острой мордочкой с крохотными ушками.

– Будь здоров! – негромко приветствовал его Алексей Андреевич. – Хоть ты и не кошка, но лучше не перебегай.

Ежик послушался, свернул в сторону, шустро застучал коготками по плотному лиственному насту.

Алексей Андреевич обрадовался такому решению ежа, приняв это за доброе предзнаменование, и стало как будто светлей вокруг.

Вспомнилась дочка, совсем еще маленькая... Представилось, как однажды встретился им в пригородном лесу ежик. Дочка как кинется к нему, как завизжит на всю опушку! Ежик свернулся в клубок, иглы выставил, шипит. А она бух перед ним на коленки: «Папочка, можно я ежичка поцелую!» И столько было в ее голоске любви, столько доверия, столько преданности всему живому!

Алексей Андреевич вспомнил дочку теперешнюю – пятидесятипятилетнюю, молодящуюся из последних сил крашеную блондинку, у которой он был на прошлой неделе.

– Папа, ты бы поймал ежа – мыши в квартире, говорят, ежи их уничтожают, – встретила дочь с порога. – Слушай, сходи-ка за арбузами, вон я из окна вижу – продают. Сходи, пока я борщ разогрею, – добавила она, ставя перед ним «прощай, молодость» – большую хозяйственную сумку на колесиках. – Не вздумай стоять в очереди – ты тройной ветеран, тебе так положено.

Тройной бывает одеколон, – помнится, буркнул он тогда, но сумку взял и за арбузами пошел. Правда, ветеранством своим не козырял, как было велено, а выстоял минут сорок.

Очередь продвигалась медленно, люди покупали сразу по несколько арбузов, долго выбирая каждый. Арбузы были хорошего позднего сорта, так называемые «мелитопольские», – одно время, когда он служил в южной степи, то увлекался от нечего делать выращиванием их в подсобном хозяйстве части. Так что в арбузах, а тем более «мелитопольских», знал толк. Но тут и разбираться было нечего – в это время, в конце сентября, они все один в один – тонкокорые, сахаристые, с мелким семечком, настоящие столовые арбузы. А люди перебирали их, мяли, давили в руках, щупали, хотя по лицам было видно, что никто из них ничего не понимает в арбузах. Многие, особенно старушки, норовили влезть за загородку из пустых ящиков, в самую кучу, оскользались, разъезжаясь венозными ногами в толстых медицинских чулках, едва не падали. Выхватывали арбузы с такой жадностью, с такой алчностью отбрасывали их один за другим в поисках лучшего, как будто в этом лучшем, по меньшей мере, была заключена путевка в бессмертие. Как будто с этим арбузом жить сто лет, а не съесть его, едва донеся домой.

– Ну, там! Ну, бабуль! Куда ж вы лезете? Ну, е мое! – вяло покрикивал молодой продавец в белом залапанном халате поверх синего лыжного костюма с начесом. От продавца приятно пахло крепленным вином – недавно выпитым, еще не перебродившим. Взвешивая, он делал подсчет карандашом на газете, мгновенно черкал что-то грязными нахоладовавшими пальцами, автоматически покрикивал на слишком уж переборчивых и тут же равнодушно называл цену на 30–40 копеек больше подлинной. Как всегда, народ мелочился и дергался в одном месте, а обжуливали его в другом, рядом.

Алексей Андреевич подумал, что продавец нарочно разрешает копать в арбузной горе – этот ажиотаж, эта нервозность отвлекают внимание от главного, от того, что нужно ему, продавцу, а не оскользающимся бабулькам. «Стратег, – усмехнулся про себя Алексей Андреевич, – молодой, да ранний!»

– Он хочет, чтоб я второго родила, думает застегнуть меня на все пуговицы, – говорила своей соседке по очереди стоявшая впереди него приземистая женщина лет тридцати пяти с широким пористым лицом и тупым выражением голубых глаз. – И так, считай, всю мою молодость отхряпал, пьянь – ни лечь с ним, ни на люди выйти! А теперь торпеду вшил и хочет застегнуть меня на все пуговицы. А какая мне с него польза?

Невольно выслушивая эту тираду, Алексей Андреевич заметил в душе, что, может быть, в своем конкретном случае говорившая и права, но все-таки откуда теперь у них, у женщин, такая забота, такая неотвязная думка про собственную пользу?

Ему понравилось слово «отхряпал». Вот именно, откуда это желание «отхряпать», например, в его дочке? Ведь если оглядеться с холодным вниманием, то ее жизнь давно уже состоит из голого неприкрытого хряпанья. Бабка была бессребреница, мать семнадцати лет отправилась спасать Россию, бросив балы и наряды, предпочла им кровавую грязь страждущих воинов, а вот дочка – хряпалка. Мелочь, конечно, но ни разу не было случая, чтобы при виде отца она тут же не поручила ему какого-нибудь дела, тут же не попыталась приспособить его к чему-нибудь не слишком интересному, вроде стояния в очереди. И внучка у него такая же – два года как окончила гуманитарный факультет, по знакомству оставили там же на кафедре лаборанткой, а она даже не знает, в чем ее служебные обязанности. Свято уверена, что главная цель работы попозже прийти да пораньше удрать и, как она выражается, «отловить кайф». По глазам видно, что давно уже спит со взрослыми мужчинами, пьет водку, курит, а все строит из себя крошку. Все мяукает при виде его:

– Дедулька, дай на мороженку!

И он дает когда пять, когда десять рублей – на меньшее она не рассчитывает. Дает, хотя эта игра, признаться, давно надоела ему и вызывает горькое чувство досады, похожее на изжогу. Столько в ее прокуренном голосе фальши, пошлости, и так хорошо помнит он ее маленькую, с белокурыми локончиками, ту, которая просила «мороженку», вызывая лишь умиление.

Да, и дочка, и внучка только «хряпают», и ни разу никто из них не поинтересовался его нуждами, никто не приехал помочь убрать, вымыть полы. Благо он сам, что называется, крепкий старик, хотя и повернуло на девятый десяток. И сейчас на плотно укрытой опавшими листьями мокрой лесной дорожке он думал о том, почему же так переменялась природа женщин? Не поголовно, конечно, но заметно. Может быть, их бабки и матери надорвались в прежние годы? Может, перекрутили их еще в те времена, когда все были «винтиками» и «гайками», сорвали резьбу? Разве не на них выехали и перед войной, и в войну, и после войны – не на их адском труде и терпении? Не только в сознании, но и в подсознании наших женщин нет теперь надежды, что кто-то защитит их, прикроет. И вот такой эффект освобождения – странный, но существующий как закономерная реальность, как признак нашей жизни. Помнится, когда он служил в горной республике, одна горянка-выдвиженка сказала, выступая на собрании: «Раньше мы были закобелены, а теперь нас раскобелили». Все смеялись. Но ведь и факт «раскобеления» имел кой-какие последствия: в нем оказалось не столько радостей для женщин, сколько удобств для мужчин.

Между рябыми стволами дальних берез промелькнули цветные полосы австралийского тумана, и миг отступили будничные воспоминания, и сердце привычно качнуло от давно знакомой тоски. То сиреневый, то зеленоватый, то лимонный туман стлался между березами, обвивал полупрозрачной кисеей их стройные белые тела и, уходя к небу, как бы приподнимал над землей всю рощу с кустами розового шиповника на опушке, с нелепо изогнутыми черными деревьями без единого листика, с играющими в очко – австралийским вождем, английским моряком и пожилым джентльменом в инвалидной коляске, очень на кого-то похожим... очень! Но на кого? С тех пор как в двадцать первом во мгле тифозного барака под станицей Каменской пронеслось перед ним это видение, он и гадал, на кого так явственно, так сильно похож старый джентльмен в инвалидной коляске...

Сейчас невозможно припомнить, почему он решил, что видение было ему из Австралии. Но, что из Австралии – это он понял сразу, как будто озарило его, как будто был голос, хотя голоса, если не считать матюков, что беспрерывно раздавались и в самом бараке, и за его стенами, не было. Можно сказать, что с тех пор он думал об Австралии всегда. Вернее, не то чтобы думал неотвязно, а как бы имел ее в виду, как, например, при безответной любви люди все-таки имеют надежду на возможное чудо. Конечно, он всегда понимал, что это блажь. Главное,

чтобы дочка и жена были здоровы, чтобы сам был здоров и чтобы была в полном порядке вверенная ему техника автороты, затем автополка, позднее – мотострелковой дивизии.

Вся его жизнь была крепко связана с автоделом. Четырнадцать лет поступил Алексей Крюков учеником слесаря на Русско-Балтийский металлodelательный завод в Риге, выпускавший первые в нашем отечестве автомобили. Шел 1912 год. А летом шестнадцатого, в дни знаменитого брусиловского прорыва, он уехал добровольцем на фронт – водителем одной из машин сформированного на заводе автомобильного санитарного отряда. На сером тенте его двухтонного грузовичка сияли широкие красные кресты. Черные шевровые куртка, бриджи, шлем, черные хромовые сапоги, черные краги из шероховатой шагрени с широкими раструбами до локтей – все одурающе пахло кожей, скрипело, подчеркивало торжественность момента и, главное, избранность – он был не кто-нибудь, а водитель автомобиля! И было ему восемнадцать лет. А рядом с ним в кабинке сидела такая же юная, хорошенькая сестра милосердия Варенька, приехавшая из Петербурга. Они свято верили в свой будущий подвиг во имя России. Они были счастливы и горды до слез своим отъездом со двора металлodelательного завода под звуки духового оркестра и благословение православного священника, старческой рукой осеняющего их широким, общим крестом.

Когда колонна двинулась по гладко мощеным улочкам Риги, народ с интересом смотрел им вслед. Многие кричали: «Ура!» Мать трижды поцеловала его на прощанье, перекрестила мелким дрожащим крестом: «С богом, Алеша!» Наверно, она хотела сказать что-то еще, да он смущенно оттолкнул ее и убежал к своей машине. Кто знал, что они простились навсегда...

Мария Андреевна Крюкова растила сына одна. На жизнь зарабатывала репетиторством – с утра до вечера ходила по богатым домам с уроками. Статная, голубоглазая, с гладко зачесанными густыми русыми волосами, собранными в пучок на затылке, она отличалась той чарующей женственностью, что дороже писаной красоты. В девичестве Мария Андреевна была идеальной моделью тургеневской героини: как и во многих интеллигентных русских девушках той поры, в ней жил дух подвижничества и альтруизма, жило то, что, говорят, сегодня утрачено начисто, как секрет египетских красок. А угораздило ее влюбиться в некоего Анджея Любомирского – игрока и авантюриста, варшавского мещанина тридцати лет, приехавшего в ее родной город Орел, чтобы купить, по его словам, «пару рысаков общей стоимостью в сто тысяч рублей золотом».

В те дни девятнадцатилетняя Мария Андреевна только что окончила двухгодичные учительские курсы и была полна решимости посвятить свою жизнь народному образованию. Как-то однажды шла она задумавшись по улице и вдруг услышала душераздирающий крик: прямо на нее выскочила из подворотни простоволосая баба, а за нею мужик с топором в руках. Мария Андреевна почти лишилась сознания. Но тут что-то выступило из-за ее спины, прыгнуло на жутко блеснувший топор, и уже в следующее мгновение мужик ткнулся головой в мостовую, а топор отлетел далеко в сторону. «Как он напугал вас, мадемуазель, – сказал молодой пан Любомирский, беря ее под руку, – позвольте проводить вас домой?»

Отважный спаситель окрутил ее в две недели. Правда, выяснилось, что пан Анджей не может с ней повенчаться, потому что «хотя и формально, но все-таки он католик, а она православная». Мария согласилась на гражданский брак, а ее родителям было сказано, что молодые едут в Ригу к родителям Анджея и оформят все там на месте. По дороге пан Анджей признался с обезоруживающей улыбкой, что его родители давно умерли, что он сирота, а в Риге никогда не бывал, но «говорят, там хорошо и можно быстро разбогатеть». И конечно же, ста тысяч рублей золотом у него тоже не было, но пан Анджей уверял, что они «обязательно будут».

Он был прирожденный игрок, но с одним изъяном – игра занимала его больше, чем выигрыш. Поэтому он и проигрывал гораздо чаще, чем следовало ожидать при его способностях: и на скачках, и в карты, и в рулетку, и в своих бесконечных комбинациях. Марии было с ним хорошо, порой упоительно, но она никогда не знала, что выкинет Анджей завтра, какой вихрь

подхватит его, куда понесет. Ему ничего не стоило пойти на угол за сигаретами и исчезнуть на месяц, а потом телеграфировать откуда-нибудь из Тифлиса: «Безумно скучился скоро буду целую ручки». А когда однажды Мария упрекнула мужа в безрассудстве, он ответил с обезоруживающей улыбкой: «Если бы я был другой, то и тебя бы давно не было». Четыре года прожила с ним Мария Андреевна, но так и не уяснила, хороший был он человек или плохой. Считавшийся незаконнорожденным сын был записан на фамилию матери: оказалось, что у пана Анджея уже есть одна жена, как он сказал, «где-то в Варшаве». В тот день, когда родился сын, пан Анджей выиграл в карты сто тысяч рублей золотом, те самые, о которых говорил, что они не за горами. К несчастью, проигравший деньги жандармский полковник застрелился. История приняла скандальный оборот. Главная наследница – сестра полковника и его многочисленные племянники обвинили пана Анджея в жульничестве, грозили убить. Мария Андреевна стала умолять мужа «вернуть эти гадкие деньги». Поначалу он смеялся, а затем уложил деньги в саквояж и поехал в город к наследникам, захватив по дороге в участке полицейского офицера, нотариуса, двух понятых из своих знакомых. Он передал свой баснословный выигрыш в руки сестре полковника вместе с составленной здесь же и скрепленной подписями бумагой такого содержания: «Я, Анджей Любомирский, в ночь на 6 апреля 1899 года имел честь выиграть в карты сто тысяч рублей золотом у господина Марченко. В связи с тем, что господин Марченко умер (он так и написал умер, а не покончил с собой), моя жена Мария попросила меня передать деньги его наследнице на увековечивание памяти усопшего».

Весной 1902 года Анджей Любомирский неожиданно уехал в Австралию, чтобы «через пару лет вернуться миллионером». Почему он выбрал Австралию, она так и не поняла. Месяцев через восемь прислал первое письмо, где писал, что очень доволен, что «Австралия именно та страна – здесь цветной туман», что теперь он скотовод, у него несколько тысяч овец и он собирается «строить бойню, кожевенный завод и шерстопрядильную фабрику». А еще через полгода пришла с далекого континента совсем коротенькая записка: «Я не вернусь. Не жди. Благословляю тебя. А.» – он всегда подписывался одной буквой. Почему-то Мария Андреевна поверила этой записке сразу. Она не ошиблась – больше вестей от Анджея не было. Горечь обиды заслонила для нее все, иногда она смутно чувствовала, что есть какая-то тайна, но душила в себе эту догадку – во-первых, она устала от бесконечных испытаний, которым подвергал ее пан Анджей, во-вторых, Австралия была так далеко, а она так бедна, что добраться туда – никакой возможности. Конечно, если бы она знала известную одному Богу правду, она бы разыскала пана Анджея и на краю света. А правда заключалась в том, что прекрасный наездник пан Анджей упал с лошади, сломал позвоночник и влачил свои дни в богадельне при английской миссии в Голубых горах близ Сиднея.

С тех пор все свои силы положила Мария Андреевна на воспитание сына и прежде всего на то, чтобы он не был похож на своего ветреного отца с его ускользящим характером. Она думала, что это ей удалось. И вот он уехал на войну.

Тут не обошлось без наследных черт пана Анджея, это уж точно. Уехал, чтобы никогда больше не увидеть своей матери. А впереди ждали его любовь сестры милосердия Вареньки, немецкий плен, французский грузовичок «Панар-левассор», на котором он будет ездить потом, сбежав из плена; английский броневик «Остин», на котором ему придется колесить по дорогам России в годы гражданской; служба механиком в одном из первых автомобильных отрядов Красной Армии в мирные дни и еще многое другое разное. Так уж сложилось, что на всю жизнь остался Алексей Андреевич Крюков военным, это во многом определило его жизнь, его поступки. Мать умерла в 1921 году в Риге. Он случайно узнал об этом лет через пять после ее смерти, встретив на улице Москвы инженера с «Руссо-Балта», наставника своей юности, который бывал у них в доме, совсем уже седого старика, работавшего кем-то вроде консультанта на заводе «АМО». Могила матери осталась за кордоном в буржуазной Латвии. В сороковом году, после воссоединения, полк, в котором служил Алексей Андреевич Крюков, проходил маршем

Ригу. Он успел заехать на русское кладбище. Сторож указал ему могилу матери. Был даже памятник из серого гранита. Сторож вспомнил, что его поставила госпожа Марченко – сестра жандармского полковника.

С громовым рокотом заходил на посадку большой пассажирский самолет – промелькнуло между ветвей в темном небе его серое брюхо. Самолет, затихая, пошел к земле. Теперь в этот близлежащий аэропорт летают со всего мира и даже из Австралии. А начали летать нынешней весной, накануне открытия Олимпийских игр в Москве.

Алексей Андреевич со вкусом потянул носом пахнувший мокрой корой деревьев и палыми листьями бодрящий тленный дух осеннего смешанного леса и почувствовал, что готов раствориться в этом сумрачном воздухе, иссеченном светлыми струями дождя, в этой цветущей яркими красками осени, раствориться навечно, смешаться с шумом голых ветвей. И он не страшился этой последней черты. Мозжила старая рана в плече, неприятно тянуло от паха под левое колено, привычно ныли шейные позвонки – словом, был он еще живой, чувствующий боль, а значит, и жизнь.

Он вышел из дачного леса на блестящую под дождем асфальтовую дорогу к станции. По обе стороны от неширокой дороги шли заборы, а за заборами стояли дома, пока еще прятались за кронами полуоблетевших деревьев. Алексей Андреевич подумал, что зимой крыши домов, стоящих чуть ниже по отношению к высокой насыпной дороге, будут очень хорошо видны, и как бы взглянул на эти зимние крыши уже чужими глазами, глазами полужнакомого прохожего, поспевающего на электричку. Да, он не очень боялся умереть, но почему-то ему было не все равно, где лежать. А здесь, в этой дачной местности, все такое временное, такое рассчитанное на праздник и удовольствие, что даже нет кладбища. Отсюда покойников увозили куда-то в другие общемосковские места, согласно прописке. А это значит, что его увезут к дочке, на ее квартиру. Правда, по документам, та квартира его – Крюкова Алексея Андреевича, он ответственный квартиросъемщик. Огромная четырехкомнатная квартира с двумя туалетами, двумя лоджиями, камином и так называемой «темной» комнатой образовалась в семидесятом году, когда постоянно живший на своей даче, давно уже овдовевший Алексей Андреевич съехался с дочкой. За эту нынешнюю сверхквартиру они отдали трехкомнатную дочкину и его две комнаты в коммуналке на Малой Бронной. На обмене настояла дочь, а зять все оформил – его отец позвонил куда надо, и все совершилось в мгновение ока. В тот год вышли большие льготы для ветеранов, и дочка смекнула: «Пап, давай мы тебя как ветеранчика используем, на тебя квартиру запишем». И записала. И использует с тех пор ежемесячно – платит за жилье и за электроэнергию копейки. А ведь совсем не бедные: муж получает большую зарплату, сама тоже хоть и в маленьких, да в начальниках. И это притом, что всю кормежку и всю одежду всегда поставлял им из распределителей отец зятя – важный до умопомрачения сановник с тонким свистящим голосом и хорошо выбритым щекастым бабьим лицом. Он носил костюмы такого высокого качества, что они отдавали словно бы металлическим блеском и сидели на нем так пряменько, строго, без единой морщинки, что казались отлитыми враз и навечно вместе со своим гладким владельцем. Так же важно лоснились и желтели его маленькие, скульптурно запавшие глазки, которыми взирал он одинаково спокойно и покровительственно на все без разбору: на людей, на автомобили, на дома, на деревья, на облака и даже, казалось, на само солнце. Он говорил: «Когда я курировал Сталинградской областью», «Мои труды переиздавались множество разов», писал с ошибками, но это не мешало ему всю жизнь – от селькоровской юности и до членкоровской смерти – ездить на образованных и грамотных, погонять умных и талантливых. К Алексею Андреевичу он относился так же покровительственно и снисходительно, как и ко всему прочему живому и мертвому. При редких встречах похлопывал его по спине, ласково спрашивал: «Как делишки, сват? Какие проблемы?» И норовил щипнуть за щеку, как маленького, хотя тот был старше его на десять лет. А как же иначе: отец зятя был хотя и гражданский чин, но по рангу не меньше большого генерала, а его сват всего лишь

армейский подполковник в отставке. Алексей Андреевич замечал, что и дочка стесняется его малого чина, слышал не раз, как она величала его полковником. Особенно неприятно было ему услышать это на похоронах свата – и зачем он только на них пошел?!

Сват умер в начале нынешнего марта. На его похоронах бросалось в глаза обилие ондатровых шапок и темно-серых с металлическим отблеском мужских пальто с ондатровыми воротниками. Шапки поражали своей стоячестью, словно под мехом был жестяной каркас, и, казалось, вполне могли звякать.

Алексей Андреевич и до сих пор помнил то ощущение собственного ничтожества, что испытал он среди этих одинаково одетых и одинаково значительных людей. Особенно в тот момент, когда на кладбище его дочь, чуть ли не зажмуриваясь от восторга, вдруг решила представить его какому-то важному старику:

– Иван Иванович, а это мой папа – полковник в отставке, участник всех войн и революций!

– Хорошо, – одобрил Иван Иванович и отвернулся.

В ту секунду Алексей Андреевич был готов провалиться сквозь землю – впереди покойника. Давно не испытывал он столь острых ощущений. И, главное, почему? За что? Чем он перед ними провинился?

– А это мой папулька – участник, – дочь ловко перехватила Ивана Ивановича за рукав серого пальто с металлическими ворсинками. Поняв, что от него не отвяжутся, тот хотел было стянуть с правой руки перчатку, но тут ветер бросил ему в лицо заряд мокрого снега, и он сунул в сторону Алексея Андреевича пятерню так – в «одежке», но зато проворчал благосклонное: – Очч... прр!

«А вдруг и на моих похоронах она назовет меня полковником? Да еще и на надгробье напишет – с нее станется!» – с испугом подумал он, поворачивая с большой дороги на заметную листьями глинистую тропинку к своему дому.

К зеленому почтовому ящику, в который уже лет десять не поступало ничего, кроме газет, прилип желтый березовый листок. Открывая калитку, Алексей Андреевич подумал, что и сам он похож на один из этих отживших листков, облетающих под мелким дождичком. Вон как кружат, как планируют они по всей улочке. Надо бы и ему хорошенько спланировать свой полет до последней точки.

Тускло отсвечивала новая цинковая крыша соседнего дома, в котором доживал свой век когда-то военный, а затем гражданский летчик. Этот бывший пилот первого класса – ныне единственный в поселке владелец коровы и трех коз. Корова у него из племенного стада – «костромская», большая, с маленькими рожками, торчащими не вверх, а вперед лба, словно козырек. Козы тоже знатные, так называемые «пуховые оренбургские», с большим содержанием пуха в руне.

Жена летчика только и занята их ческой, только и думает, как бы не почесались они о чужой забор, как бы не пропала лишняя пушинка. Заказов на козий пух – хоть отбавляй, а про молоко и говорить нечего. И молоко, и творог, который делает лично летчик, идут в поселке нарасхват с ранней весны и до поздней осени, а зимой летчик возит свой товар в Москву на рынок. И с коровою, и с козами помог ему Алексей Андреевич. Как-то, года четыре назад, завел сосед беспородную коровенку и пару коз – ни мясных, ни шерстных, ни пуховых, а так себе, какую-то захудалую помесь козы кавказской с русской козой. Тогда-то Алексей Андреевич и растолковал соседу значение породистости. Выслушав его со вниманием, бывший летчик сказал: «Ну, что ж, я не прекращаю взлет на середине полосы!» И не прекратил. Корову ему удалось купить поблизости во Владимирской области, притом молодую, второго отела, выбракованную фиктивно. Сложней было с козами – пришлось Алексею Андреевичу по давней памяти писать в «Племенной рассадник по разведению пуховых коз», в Оренбургскую, а по-старому в Чкаловскую область. Потом летчик летал туда и привез трех молочных козлят.

Самолетом. Сосед оказался человеком решительным и дотошным – теперь он уже и о коровах, и о козах знает не хуже ветеринара средней руки. А в первое время пришлось Алексею Андреевичу открывать ему глаза на простейшие вещи: например, он даже не предполагал, что его корова Зорька приходит в охоту не чаще чем раз в три недели, да и то примерно на двадцать-тридцать часов. Алексей Андреевич все ему разъяснял: и как поило замешивать, и как правильно доить, и как коз чесать, и как навоз превратить в компост и прочее. Еще и сейчас летчик иногда советуется с ним по хозяйству: знает, что практически нет ничего, о чем бы не имел Алексей Андреевич самого исчерпывающего представления. Коров он разводил когда-то в подсобном хозяйстве части во время службы в Нечерноземье, коз – в Грузии. Отличные у него были козы – молочные менгрельские, некоторые из них давали по четыре литра молока, да какого! Многих гарнизонных ребятишек выпоил он козьим молоком, а годы были тяжелые, голодные. Конечно, этой деятельностью он занимался не в ущерб своим прямым обязанностям, а попутно, в личное время. В мирные годы ему было тесно в рамках армейской жизни и он всегда находил себе дополнительное живое дело. Дух подвижничества и альтруизма, унаследованный от матери, тесно переплетается с духом предпринимательства, унаследованным от отца. То он организовывал бахчу, то молочную ферму, то устраивал снежный городок детям в забаву, то солил грибы для солдатской столовой. Начальство его недолюбливало, косилось, но прощало многие вольности и зато, что он был замечательный специалист, и за то, что не метил на высокие должности, а «разменивался на мелочи».

Летчик, хотя и был редкостный жмот, но отдалил Алексея Андреевича за его заслуги с княжеской щедростью: жена летчика связала для него две пары носков, двупалые варежки, свитер, шарф – все из чистейшего козьего пуха.

Летчик продавал творог по пять рублей за килограмм, независимо от времени года.

– Что же так дорого? – пожурил его однажды Алексей Андреевич. – Так нельзя.

– Можно, – уверенно отвечал сосед. – За лень надо платить. А что, разве лучше, если бы и у меня не было коровы? Лучше дорого, или лучше вообще не иметь? – ехидно спросил он, щуря голубые, по-молодому блестящие глаза.

Подумав, Алексей Андреевич понял, что не сможет ответить ему, не углубляясь в историю вопроса, а потому и не возобновлял впредь подобных разговоров. Так что молодецкий летчик-пенсионер и тут оказался победителем.

Пройдя по мокрому дворику мимо аккуратно подстриженных кустов татарской жимолости с дрожащими каплями на тонких ветках, Алексей Андреевич отпер дубовые, окованные железом ворота гаража. Как здесь было хорошо, как мило его шоферскому сердцу! Чисто. Сухо. Все под рукой – любой инструмент. Каждая вещь на своем месте, и все так ладно развешано, расставлено по полочкам, разложено по ящичкам. А какая отличная смотровая яма – в полный рост, бетонированная, с мощной подсветкой, для того, кто понимает, – не яма, а драгоценность высшего разряда! И все здесь в гараже сделано его руками. Кроме самой машины, конечно, хотя и к ней приложены руки. Вот она, красавица старая «Волга» – цвета слоновой кости, сияющая, будто вчера с конвейера, а ведь бегаёт уже двадцать лет. Как говорят о ней на Западе, не машина, а «танк во фраке». У толкового хозяина все оживает, даже неодушевленная машина. А для него она не просто одушевленная, но и единственная родня, в смысле возможной помощи и надежды. Крепкий запах бензина напоминал о том, что машина заправлена, готова в путь – бак полон, да еще в багажнике четыре полные канистры.

Сегодня на рассвете Алексей Андреевич, как всегда по пятнадцатым и тридцатым числам месяца, встретился на дальнем загородном шоссе с шофером бензозаправщика, и они обтяпали свою обычную сделку, или, как говорят теперь, – сделали бизнес. При воспоминании об этом Алексею Андреевичу вдруг стало стыдно, и он неожиданно для себя подумал: «Всех обвиняю, а сам?!» Конечно, было у него кое-какое оправдание. Да, он покупал этот левый бензин за бесценок, но неужели лучше, если бы шофер бензовоза слил его в Москву-реку? А ведь

когда ему не удавалось распродать излишки – сливал. Понятно, что оправдание может найти каждый. Никому не хочется считать себя жуликом или прохвостом, все считают себя жертвами обстоятельств, соблазненными, оступившимися, кем угодно, только не ворами.

«Так-то оно так, но все-таки кошку надо называть кошкой, а розу розой», – печально подумал Алексей Андреевич и, погладив холодное крыло автомобиля, вышел из гаража. Привычно запер ворота и пошел в дом.

В отличие от гаража, дом он не запирает, считал, что там нет ничего ценного. Дом состоял из двух комнат, кухни и неотапливаемой веранды. Со своих пяти яблонек во дворе в хороший год он собирал почти тонну, так что ароматом антоновки пропитался весь дом, насквозь – от стропил и до подпола.

Проходя в спальню, он нечаянно взглянул в зеркало и увидел лицо старого джентльмена. Но как постарел! Под глазами складки, на тонкой шее кожа обвисла как у индюка, глаза тусклые, маленькие. Отступил на шаг, присмотрелся внимательнее, боже мой, так это он похож на старого джентльмена в инвалидной коляске! Он сам! Такое удивительное сходство, а никогда прежде не замечал! М-да...

Включил старенький телевизор, поубавил звук, но слушать не стал. Прилег на дубовую кровать, кстати, тоже сделанную когда-то собственными руками, накрылся шерстяным пледом. Умогнулся поудобнее, нашел позу, чтобы поменьше ныли шейные позвонки, полегче мозжила старая рана в плече – почти сорок лет с ней, вроде пора привыкнуть, а все не получается.

«Пусть в доме пахнет яблоками, – думает он засыпая, – так хорошо, когда пахнет яблоками». И ему представляется его пустой дом, пахнущий яблоками, и гладко мощеные улочки старой Риги, по которым ведет он свой санитарный грузовичок, и Варенька, ставшая когда-то его женой, и мать, правда, лица матери он не видит, а только чувствует, что это она. Странно, почему мать так не любила вспоминать об отце – умер и все, и точка. В австралийском цветном тумане выплывает какой-то перевал в горах, кусты жимолости татарской, но не осенние, нынешние, а цветущие розовыми и красными цветками, какая-то женщина в светлом дорожном костюме у длинной легковой автомашины неизвестной для него марки. Что за машина? Похоже, «Крайслер».

– Вы не поможете с бензином? – спрашивает женщина, и тут же подъезжает знакомый бензовоз и шофер Саша заливает ей полный бак, а то, что перелилось из трубы, плывет маслянистым пятном по темным предрассветным водам Москвы-реки. По телевизору ребята его возраста и возраста его покойного свата, – все в стоячих ондатровых шапках, – награждают друг друга и читают по бумажкам фамилии, имена и отчества своих награждаемых соратников. «Бог мой, – думает Алексей Андреевич во сне, – когда же это кончится? Когда прекратится это всеобщее хряпанье? Неужели так и не найдутся достаточно честолобивые и сильные люди, желающие сделать что-то для Родины, а не только для себя лично?!»

– Я не прекращаю взлет на середине полосы! – говорит сосед-летчик. – А вы не желаете подоить моих коз?

Тяжелая гранитная плита наваливается на грудь, а на плите надпись: «Полковник Крюков А. А. Незабвенному папулечке...»

– Нет-нет, этому не бывать! – проснувшись в ужасе, пробормотал Алексей Андреевич. – Не бывать...

Надев носки из козьего пуха, он написал дочери записку: «Я не вернусь. Не жди. А.»

Минут через сорок Алексей Андреевич уже выезжал со двора.

– Куда на ночь глядя? – крикнул от своей калитки сосед.

– В Австралию!

– Понятно, тогда счастливого пути! – засмеялся летчик и пошел чесать своих коз.

1988

Свадебное платье № 327

Сквозь давно не мытые громадные окна прокатного пункта косо падали с голубых небес полосы предвечернего майского света, весело желтели в муторной пустоте бессмысленно высокого и просторного помещения. Обведенные по краям золотистым контуром хаотично дрожащих пылинок, лучи солнечного света упирались в плохо подогнанные друг к дружке светло-коричневые кафельные плитки пола и будто дымились, расшибаясь об них, рассеиваясь золотистыми мушками.

Запах пропахших складской плесенью бетонных стен смешивался с запахами сигаретного дыма и более кислым папиросным дымком.

Приемщица курила сигареты, а сидевшая напротив нее, по другую сторону низенькой стойки, моложавая, ухоженная старушка – давно забытые миром папиросы. На разделявшем собеседниц прилавке сияла роскошная, похожая на вазу хрустальная пепельница – из тех, что могли быть выданы напрокат.

– На нашей клетке одна семья пьет беспощадно, до основания – гуталин разводят – и тот пьют. В пиво, например, хлорофосом – пшик, снова закрыли бутылку, взболтнули и пьют – дуреют на месте. А вторые соседи ничего, самостоятельные – водочные. – Не спеша рассказывала старушка. – А мой еще без меня отпился, у него вместо мочевого пузыря – нейлон. Я ему говорю: «Так что, выходит, если дам тебе раза по причинному месту, значит, мне из-за тебя в тюрьму садиться, да?!» Измучил паразит. А держу его чисто. Все соседи мной вполне восхищаются. Ему восемьдесят два года, а мне шестьдесят семь. И когда я, дура старая, за него выходила, – и на нашей клетке, и в подъезде, и во дворе – все говорили: «Что же ты, бабушка, такая модная, красивая и за такого выходишь?» С сорок первого года я без мужа, в двадцать два года осталась вдовой с двумя детьми. И не смотрела ни на кого, и забыла, что я женщина. А теперь детей вырастила, внуков им подняла, и дети со мной не хотят жить – выдали меня замуж. А он, не поверите, смотрит нахально, смеется и писькает, хулиган. Такой хулиган – восемьдесят два года! Голый выходит из своей комнаты и в мою – выставит своего петуха, а там все атрофировано. Но у него сила в руках, и не умирает, между прочим; морду наел на моих борщах, щечки розовенькие стали. Целый день есть отказывается – ни обедать его не дозвешься, ни ужинать, а потом всю ночь шарится по кастрюлям, мясо руками из борща выхватывает – сколько уж прокисло! Врачиху ему вызывала, а она говорит, ничего не поделаешь, бабушка, – старческий маразм, терпите. Любой, говорит, может дожить – хоть вы, хоть я, хоть сам министр, генерал, академик – любой! Сейчас, говорит, бабушка, продолжительность жизни большая, поэтому многие не выдерживают – впадают. Тысячи тому примеров! – Докурив папироску, старуха ткнула ее в хрусталь пепельницы, загасила привычным, завинчивающим движением сухонькой кисти в бурых накрапах пигментации. – Вся ими жила, на них вся надежда держалась – на деточках, да-а... А они меня замуж, да еще так сделали, чтобы мы с ним съехались. А детям моя квартира перешла, тоже двухкомнатная. Так что теперь мне и деться некуда. Вы меня извините, конечно, но вот как можно вляпаться на старости лет.

– Не вляпывались бы, кто вам виноват? – едко спросила приемщица, пуская дым из ноздрей.

– Святая правда, – покорно согласилась старуха, – но вот ваши подрастут, тогда и поговорим, – закончила она с ноткой затравленности в голосе.

– У меня одна. Но я ей не дам, ей-богу, не дам!

– Ой, не зарекайтесь. Мне тоже все говорили: не давайся, не давайся ты им! Да куда денешься: дочка с утра до вечера только и капала: «Нет у нас с ним жизни, мама, нет. Да и откуда ей взяться – без самостоятельности?» Сын тоже ее поддерживал, хотя и молчком. Както крупный разговор у нас был с дочкой при нем, так я ей говорю: «Тогда к Вите уйду, если

тебе не нужна». А он молчит. Так и промолчал, будто не слышал, газетку схватил и стал за мухой гоняться по всей кухне, пока не прихлопнул. А недельки через две его жена, Витина, как раз мне этого старичка нашла. Я согласилась. Куда деваться? И он такой жалкий был – думала, хоть кому-то нужна буду, хоть чужого старичка обихожу.

Да и мои все так радовались, так подталкивали меня к этой семейной жизни. Поплакала, будто в молодости, и пошла под венец. Куда денешься: жалко их всех.

Заговорило молчавшее до тех пор радио – окончился перерыв. Заговорило с победительным придыханием сначала что-то насчет кормов и удоев, потом про Чернобыль.

«Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце», – сказал в свое время Екклизиаст. Сквозь давно не мытые стекла косо съезжали на пол лучи солнечного света, радовали глаз, веселили душу неясной надеждой.

Окончившая в свое время десять классов приемщица подумала, что, наверное, атомы похожи вот на эти пылинки, танцующие в солнечном луче, только еще меньше: «В голове не укладывается – куда же еще меньше?!»

– Значит, оно с радио связано? – спросила старуха. – Так зачем же в каждом доме радио? Надо их снимать.

– Радио здесь ни при чем. Там что-то другое, просто так называется – радиоактивность.

– Раз назвали, значит, связано, – возразила старуха, – так просто не назовут.

– Сколько угодно, – скривив полные, еще свежие губы, дерзко усмехнулась приемщица. – Вот, например, почему я называюсь «приемщица»? Я ведь выдаю людям вещи – значит, я «выдавальщица». Да, я самая натуральная выдавальщица!

Старуха не стала перечить, почувствовала, что тут у ее собеседницы затронуто какое-то коренное несогласие с жизнью, какой-то глубинный протест против судьбы и рутины. Чтобы не спорить и вместе с тем сохранить достоинство, старуха закурила новую папироску.

По-мужски, щелчком, выбив из пачки сигаретку, приемщица последовала ее дурному примеру. «А то и в подоле принесет!» – неожиданно подумала она о своей пятнадцатилетней дочке, и страх пробрал ее по спине холодными иголочками до крестца.

Старуха умиротворенно смотрела на рой золотистых пылинок и думала о том, как ей не хочется идти домой, какая тоска ждет ее там – один на один с законным супругом, который сейчас наверняка подсоединяет телефонный провод к радио, чтобы она, старуха, даже не могла позвонить, спросить про внучиков. Знала, что двойняшкам-внучикам до нее как до прошлогодней травы, но прощала им все по молодости: вот пойдут через год в армию, даст бог, переменятся. Втайне старуха надеялась, что внучики о ней еще вспомнят, еще доживет она до того дня, когда попросят посидеть с маленькими.

Ее внучики были у сына, а дочка, хотя и жила со вторым мужем, но так и не обременила себя детьми. Сначала говорила «рано», а теперь говорит – «поезд ушел». «При чем здесь поезд?» – спрашивала старуха. «Ладно, замнем для ясности!» – всегда одинаково обрывала дочка, и в уголках ее густо подведенных ореховых глаз набухали злые слезинки, но только набухали, пролиться она им не давала – берегла краску.

Два года назад заехала старуха в этот чужой для нее район Москвы, и теперь сложилось так, что единственный человек, кто еще уделял ей внимание, была вот эта работница прокатного пункта, разместившегося в высоком нижнем этаже жилого крупнопанельного дома. По всем статьям приемщица годилась старухе в дочери, а разговаривали они на равных. Может быть, оттого, что старуха не поучала, не кичилась своей старостью, а приемщица не подчеркивала свою сравнительную молодость, а может быть, потому, что женские судьбы их были похожи в главном – приемщица тоже осталась вдовой в двадцать два, едва родив. Старухиною мужа и его поколение выкосила война, а мужа приемщицы и его ровесников – бутылка. Не дай бог сравнивать с войной, но и бутылка – оружие массового уничтожения. Из тех, кого она прокатала, как тесто на лапшу, многие живые только по форме, а не по содержанию.

Как ни крути, а ей, старухе, кроме приемщицы, пойти здесь не к кому. А что она знает об этой приемщице? А что приемщица знает о ней? Ничего не знают они друг о друге, да и узнавать не хочется – так лучше. Главное то, что как только приемщица увидит ее в дверях, так и заулыбается. Улыбается и сразу выносит большую хрустальную пепельницу, похожую на вазу, ставит ее на низкий прилавок, отделяющий казенную часть пункта от так называемого «зала» – места, где могут толочься прочие люди. Старуха придвигает к стойке один из нескольких представленных к пустой стенке стульев, и они сидят курят, говорят про погоду, про цены, про всякие другие общие места, а больше молчат. Главное – не лезут друг к другу с откровениями. А вот сегодня старуха вдруг сорвалась, наговорила лишнего. И сейчас ей стыдно, она старается не смотреть в глаза своей собеседнице – вдруг та подумала, что должна ответить взаимностью и рассказать что-нибудь не слишком красивое из своей личной жизни.

– Так я пойду? – неуверенно спросила старуха, докуривая вторую папироску.

– Да ладно, сидите, – приветливо улыбнулась приемщица, и на сердце старухи отлегло, как будто ее простили.

Все с тем же победительным придыханием радио объявляло о том, что желающие граждане могут взять напрокат свадебные платья, и называло адреса прокатных пунктов столицы.

– Про нас, х-мм! – криво усмехнулась приемщица. Такая у нее была манера усмехаться – криво, с обидой, накопленной за многие годы еще с тех пор, когда однажды, в первое лето после школы, напоили ее в полужнакомой компании до беспамьятства, и очнулась она наутро в чужой постели. – У тебя и такое добро есть? – удивилась старуха. – Есть. Теперь осталось одно, а завозили когда-то пять штук. – Приемщица невольно оглянулась в сумеречную глубину помещения, туда, где висело на плечиках свадебное платье – издали его было почти не видно, так, лишь край тускло отсвечивающего полиэтиленового чехла. Но она-то знала его досконально – каждую рюшечку. Что ни говори, а белое свадебное платье с фатой – это тебе не пылесос «Бурани», не стиральная машина «Эврика», не коврик в прихожую. Словом, это была самая непростая вещь у нее на выдаче, и относилась она к ней по-особому, с душой.

Оставшееся в прокатном пункте свадебное платье значилось в описи под инвентарным номером 327. Платье было самого ходового размера – полнота сорок шесть, рост три. Как было записано в документации: «рост – 164 см, обхват бедер – 100 см, обхват груди – 92 см». Обычно пишут «окружность бедер», «окружность груди», а здесь употребили слово «обхват», и хотя не было указано, кто должен обхватывать, но все равно сразу веяло чем-то живым и веселым.

Платье было впору и приемщице, и ее дочери – в свои пятнадцать лет та вымахала в такие дылды, что хоть под венец. Всего каких-то два года назад была девчущка, пигалица, а теперь форменная невеста – рослая, налитая, ступни тридцать восьмого размера, дай бог, чтоб больше не росли!

«Неужели и она из атомов?! – подумала приемщица о своей дочери. – И я? И вот эта старуха? И пепельница? И пепел? Неужели все из атомов – чепуха какая-то!» Она ведь и в школе учила, и знала – таки-так – из атомов. Знать знала, но осознать не могла, хоть режь! Атомы эти были для нее вроде смерти – то, что умирают другие, даже близкие, понятно, а вот в то, что умрешь сама, как-то не верится.

Сквозь толстые витринные стекла в грязных потеках была далеко видна ярко освещенная предвечерним солнцем широкая новая улица: майская свежесть газонов, невысокие деревья в дымке молодых листьев, небольшая, но плотно сбитая очередь человек в триста у винного магазина – будто стоящих на пристани, в надежде сесть на корабль, что увезет их к спасению; застывшие в глубокой чистой тени громады жилых домов, очеловеченные лишь разноцветными постирушками на балконах. А еще лет двадцать назад здесь дремали в беспамьятстве глубокие, дикие овраги, заросшие колючим терновником. Говорят, что в оврагах водились зайцы, но в это сейчас так же трудно поверить, как и в сами овраги.

По дальнему от прокатного пункта тротуару, вдоль темной зелени газона пробирались к автобусной остановке знакомые старухе богомолки – чисто одетые, в косыночках, туго завязанных под горло, некоторые с палочками, точно стародавние странницы с посохами. Старуха многих из них знала в лицо, здоровалась, называла про себя «вольными бабками» и смотрела на них с завистью. Еще бы не завидовать – у них своя компания, с ними Бог. А что она? Как ей сейчас к ним пристать? Как присоединиться? Никогда прежде не ходила она в церковь, да и о Боге не задумывалась. Так только, когда, бывало, припечет, тогда и взвоешь: «Господи, пронеси! Господи, оборони!» А в нормальные дни не до Бога – крутись и крутись. То на камвольной фабрике, где проработала она, считай, всю жизнь среди мокрой шерсти в грохоте чесальных машин, то дома, то с детьми, то с внучиками. В церковь ходят по нынешним временам вольные бабки, а она никогда не была вольною. Лишь теперь, в последние годы, да и то со старичком на шее. Только и думай об его шkode, только и спасайся. Ночью стала в своей комнате на крючок накидываться – мало чего ему взбредет – возьмет и голову отрежет. Врачиха говорила, такие случаи описаны. Зря, конечно, она это сказала, но уж больно начитанная в своем медицинском деле была врачиха, уж очень хотелось ей разъяснить насчет старческого маразма все до тонкостей. Да, сейчас бы она пошла в церковь, но как? Стыдно вдруг к Богу примазываться. А тем более вольные бабки все держатся кучкой, все такие неприступные, с поджатыми губами и с таким видом, как будто знают что-то такое, чего никто не знает. А тут еще ее дураковатое замужество. Правду сказать, если б не последний грех, попросилась бы она к вольным бабкам в компанию. На миру и смерть красна – в народе ничего зря не сказано.

«А что ж, того и гляди, выскочит через два-три года замуж и вполне может привести зятка, – продолжала думать о своей дочери приемщица, – и куда я денусь от зятка, а?!» Хотя и хорохорилась она перед старухой, но понимала, что деться ей тоже будет некуда. Вообще, она давно заметила, что чем дольше жила на свете, тем больше становилось для нее непонятного. А теперь еще с этими атомами история, только и разговору – люди гибнут. «Неужели все из атомов и даже сам солнечный свет?!» Принять на веру она могла, чего только не приходилось ей принимать на веру, а вот примириться. Нет... в голове не укладывалось!

И чтобы не мучить себя невообразимой картиной, приемщица стала вспоминать о прочих четырех свадебных платьях, бывших когда-то в ее ведении.

Одно платье утонуло вместе с пьяной невестой в Останкинском пруду.

Второе было залито красным вином и прожжено во многих местах сигаретами, отчего в белом капроне грязно желтели оплавленные дыры.

Третье – увезено за рубежи нашей Родины на горячий и пыльный Аравийский полуостров пышнотелой блондинкой лет двадцати трех. Приемщица хорошо ее запомнила: бело-розовую, с густо подведенными большими светлыми глазами без зрачков, в золотых серьгах-висюльках, в золотых браслетах на обеих руках, с обручальным кольцом такой толщины, каких она отродясь не видывала. А рядом, с большой желтой сумкой на ремне, стоял ее темнокожий друг-супруг – щупленький, поменьше нее ростом, в черно-белых лакированных ботинках на высоких каблуках, с быстрыми, маслянисто взблескивающими глазками, которые он потуплял воровато, но в которых опытному человеку все-таки можно было прочесть: пока он потерпит любые ее выкобенивания, пока не взнуздает, не покроет седлом, не подтянет подпруги. «Достань-ка мои белые туфли! Да не ставь ты сумку на пол, вот бестолочь!» – властно покрикивала она. Он исполнял все ее желания беспрекословно, только сладко жмурился в белозубой улыбке: «Иншааллá, доберемся до земли правоверных...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.